

Н · О · В · О · С · Т · И
Н
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРГЕЙ ЗАЯЦКИЙ
БАКЛАЖАНЫ
ПОВЕСТЬ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“ 1927



СЕРГЕЙ ЗАЯЦКИЙ

БАКЛАЖАНЫ

ПОВЕСТЬ

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
„КРУГ“
1927

**ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ ГИЗ'а,
Москва, Пятницкая, 71**

БАҒЛАЖАНЫ

I.

СУДЬБА НА ВЕРЕВОЧКЕ.

Разве не говорили все и разве не утверждали, что украинские ночи сотворены для любовных восторгов?

Разве Гоголь не восклицал патетически: „Знаете ли вы украинскую ночь?“—и разве не отвечал он сам, видя, что язык отнялся у заробевшего читателя: „О, вы не знаете украинской ночи“.

И разве Куинджи кусок этой ночи, втиснутый в золотую раму, не передвигал по всем губерньским городам Российской империи, пока не пригвоздил его гвоздем вечности к стене Третьяковского прибежища?

Да. Пленительна и сластолюбива украинская ночь. Но в сто, в тысячу, в миллион раз пленительнее и сластолюбивее знойный украинский полдень.

Беззвучно и тихо скользит хрустальная река. Где-то вдали, словно чье-то бестревожное сердце,

постукивает мельница, огромный, как майн-ридовский кондор, аист-лелека мерно пролетает над водою.

О, счастливые любовники, обитающие в Советской украинской социалистической республике! Усталые, раскинулись вы среди лоз, разросшихся на песке, и перебираете пальцами золотую солнечную сетку и грезите о тех временах, когда у человека отец был уже человек, но бабушка еще шимпанзе.

Да. Прекрасен украинский полдень, и не угнаться за ним, никогда не угнаться куинджевской ночи.

* * *

Двадцатого июля тысяча девятьсот, кажется, двадцать пятого года на белом пляже у реки Ворсклы грелись и отдыхали после купанья три голые — вполне можно сказать — красавицы, с телами не светлее той медной посуды, которую продают у нас цыгане, и волосами такими же черными, как цыганские бороды. Три красавицы эти были на три различных вкуса, и появившись сейчас среди них древний Парис, он, пожалуй, опять затруднился бы, которой вручить свое историческое яблоко, вернее, предложил бы каждой по очереди отведать понемножечку.

Одна была очень пышна и очень тяжела и лежала между своими подругами, как массивная

библия с рисунками Дорэ лежит между переплетенными брошюрами.

Другая была стройна, как кедр ливанский, обращенный к востоку. Похожая на Суламифь, она посыпала горячим песком свое смуглое бедро и презрительно жевала стебель.

Третья была вертлява и костлява, она совсем не лежала спокойно, но то падала ничком, словно плавала по песку, то, раскинувшись, распластывалась на спине, отдаваясь солнцу, то садилась на корточки, опираясь руками о землю, как кенгуру, готовый прыгнуть.

Вокруг красавиц валялись белые рубанки и пестрые платья, туфли и еще ханки — пустые высохшие тыквы, заменяющие украинским Веверлеям пузыри.

Красавицы уныло пели на мотив известного танца баядерки:

Омоложенье — это радость, мечта.
Вернется юность и красота.
Исчезнет ряд морщин,
Исчезнет ряд седин,
И буду я опять пленять мужчин.

— Соломон вчера опять приходил и искал моей руки, — сказала Суламифь, — он до того в меня влюблен, что мне даже стыдно, тем более, что замуж я за него никогда не выйду.

— Почему же ты никогда за него не выйдешь, Рая? — спросила самая полная, переворачиваясь осторожно, чтобы не перековырнуть вселенную.

— Потому что у него характера не больше, чем у половой тряпки. А я люблю жестких мужчин. И потом у него смешная фамилия: Поднос.

— Но если ты не выйдешь за Соломона, то за кого же ты выйдешь?

— А зачем мне вообще выходить?

— Не говори так. Когда я вышла замуж, я в первый же год прибавила на восемнадцать кило. А ты видела Мышкину. Когда она вчера купалась, на нее было симпатично смотреть. У нее все тело словно перевязано ниточками.

— Мышкина не от замужества потолстела. Я же знаю: она пьет пиво с медом, с маслицем и с желтками.

Красавицы умолкли и потом опять запели:

Омоложенье — это радость, мечта...

— Я сегодня была на базаре, — заговорила порывисто и страстно та, которой не лежалось спокойно, — и видела, как в фэртоне проехал такой интересный человек. Он ехал со станции, потому что у него в ногах лежал чемодан.

— Это приехал к Кошелевым их родственник из Москвы. Кошелева вчера приходила к нам

в магазин и спрашивала, когда приходит поезд. Мы ей сказали.

— Он приехал жениться на Вере Кошелевой? — спросила Рая.

— Пш... Разве он дурак или душевно-больной? Такой мужчина может жениться на богатой и совсем молоденькой девушке. Он как принц.

— Ты, Зоя, готова влюбиться в простой пень. Разве ты не сказала, что новый провизор самый красивый человек в мире?

— При чем тут я? Это говорят все.

Полная в это время села и стала натягивать на могучие ноги длинные палевые чулки.

— Я уйду, — сказала она. — Лева скоро придет домой. Ай, какой он смешной в своей любви ко мне. Он каждый день мерит меня сантиметром. Ему все хочется, чтоб я была совсем толстухой.

— Молодой Кошелев гладко выбрит и похож на артиста, — сказала Зоя, расправляя и надевая на шею рубашку. — Таких мужчин приятно целовать в губы.

Они стали одеваться и скоро ярко запестрели на фоне зеленых холмов.

А на зеленых холмах в полуденной дымке застыли Баклажаны — город белых одноэтажных домиков и голубых деревянных церквей, родной брат Хороля и Кобеяк, племянник Миргорода, город акаций, фруктовых садов и пирамидальных тополей,

маленький город с единственной мощеной улицей и кирпичными тротуарами. Из его кудрявого зеленого букета торчала, словно палка из цветочного горшка, худая мачта-антенна на крыше единственного сознательного товарища.

По тропинке, спускающейся к берегу, в это самое время шли два человека, один высокий, весь в белом, без шляпы, другой низкий, сутулый, какой-то серый, едва поспевавший за белым.

— Вот он, — прошептала Рая, — это с ним идет Вороновский, — я его боюсь. Папаша сказал, что от него можно заразиться чахоткой. Посмотри, какое желтое у него лицо, как лимон.

Полная одернула сзади платье, чтоб кверху подтянуть декольте.

Они, потупившись, прошли мимо Кошелева и Вороновского и не оглянулись, только полная теперь одернула декольте вниз, чтобы побольше закрыть спину.

Они обернулись к Зое, которая шла сзади, но ее не было.

— Где же она? — удивленно спросили обе друга друга и воспользовались случаем внимательно оглядеть белую спину, исчезавшую в зелени.

— Она верно пошла другою дорогою, она всегда боится тех, в кого влюблена: она глупа.

— А он, правда, красив, — прошептала пышнейшая из пышных.

— Мужская красота — фикция, — презрительно отвечала Рая, — у всех русских плоские лица.

Ну, конечно, Кошелев не был красавцем в том смысле, как рисуют на картинках, да и в самом деле не фикция ли мужская красота? Но уж он вовсе не был похож на баклажанских мужчин и выделялся среди них, как в столице нашей выделяется заезжий англичанин. Все на англичанине не такое, и портфель у него с машинкой, и башмаки невообразимо острые, и пальто зеленое нескладностью своею складное, и шляпа аппетитная, как шоколадный торт, и очки черепаховые огромные, не для человеческих глаз, и ни разу локтем в толпе даму наотмашь не саданет. Клином врезалась в революционную столицу буржуазная штука. И таким же клином в Баклажаны вонзился Кошелев. Баклажанские мужчины бреются редко, а то и вовсе не бреются, а он через день, у баклажанских мужчин брюки гармошкой болтаются, а у него складка впереди сверху до низу, и рубашка прозрачная особой спортивной выработки — от блаженной памяти — Альшванга. Да как же это возможно, воскликнут иные скептики, чтоб на восьмой год рабочей власти подобная рубашка, как же не смел ее вихрь революции! А вот не смел, и дело тут, очевидно, не в слабости вихря, а в прочности материи; да что ж вы рубашке удивляетесь, если и сам Кошелев — носитель ее —

уцелел. Уцелел и в Баклажаны приехал поездом прямого сообщения.

Кошелев и Бороновский вышли между тем на берег.

Река ослепительно сверкала на солнце.

Таким миром и такою тишиною полно было все кругом, что Кошелев замер, исполненный восторженного благоговения. А Бороновский, страшно запыхавшийся, схватился руками за грудь и стоял, бессмысленно выпучив глаза и глотая воздух, словно выброшенная на песок рыба.

— Какая благодать, — воскликнул Кошелев, — какая красота! Я понимаю, что Карамзин иногда падал ниц и восторженно целовал землю. Стоит поцеловать. Вы знаете, когда я сейчас шел по городу, у меня было впечатление, что я перенесся на машине времени в мирные гоголевские дни.

— Подобно фантастическому рассказу Уэльса, — проговорил Бороновский, несколько отдышавшись.

— Да. И как было чудно на одном домике, в котором по всем правилам следовало бы жить Ивану Ивановичу или Ивану Никифоровичу, увидеть серп и молот. Я даже в первый момент не мог сообразить, что это такое.

— А... это вы очевидно имеете в виду нашу почту.

— Как, вероятно, уютно жить в этих маленьких домиках. Всюду ставни, огороды... На некоторых

крышах я видал даже аистов. Стоят себе на одной ноге, как сто лет назад, и наплевать им на сдвиги, происшедшие в человеческом мирозерцании.

Бороновский тихо рассмеялся.

— Вы это очень остроумно выразились,— произнес он, — а уж если мы заговорили об аистах, так у нас тут есть один замечательный аист. Ему добровольцы приладили к ноге офицерскую кокарду. И вообразите, аист прилетает до сих пор все с кокардой. Его тут так и прозвали: Деникин.

— Забавно. Да. Я смотрю и удивляюсь. Ведь это же прямо картина Пимоненко или Кондратенко под названием „Полдень в Малороссии“. А что это там белеет?

— Хутор.

— Поселиться бы на этом хуторе с какою-нибудь Оксаною и есть галушки.

Легкое облачко набежало на солнце, и все сразу кругом поблекло и потускнело. Так тускнеет примабалерина, когда тушит старый Вальц — театральный волшебник — озаряющий ее прожектор и зажигает обычную рампу.

— Удивительно, — сказал Бороновский, — до чего явления природы иногда совпадают с мыслями. Смотрите, как все потемнело. Степь словно нахмурилась под наплывом неприятных воспоминаний. А я как раз хотел вам рассказать, до чего не повезло хозяину того хутора. Его во время

гражданской войны ночью раздели, облили керосином и подожгли. Мы все видели, что огонек по степи бегаёт, но не понимали, в чём дело, потому что крики относилось ветром в другую сторону.

Кошелев сочувственно покачал головою. Но странный рассказ как-то легко прошёл сквозь его уши и улётел вместе с белым облачком.

— А женщины, — опять заговорил он, — у нас в Москве они словно сработаны по ватерпасу. А здесь, я нарочно обратил внимание, — какие груди, даже у интеллигентных.

Бороновский конфузливо улыбнулся.

— А вы, Степан Андреевич, — сказал он, — должно быть, крупный Дон-Жуан.

— Да ведь правда. Ну, возьмите хоть мою двоюродную сестрицу. Разве плоха?

Бороновский вдруг оживился, он не стал менее бледным, ибо румянец, повидимому, навсегда покинул его лицо, но глаза его блеснули восторженно.

— Вера Александровна божественно красива, — сказал он, — и блистает умом. Вы попробуйте поговорить с нею о литературе; вы будете поражены её начитанностью.

— Не понимаю, как она до сих пор не выскочила замуж.

— Она чужда мирских интересов и к тому же крайне независима. В прежнее время за ней

ужаживало много молодежи, но она никому не подарила своего внимания.

— Ну, теперь-то, я думаю, она бы подарила. Ведь ей скоро тридцать стукнет. С этим не шутят.

Бороновский встал.

— Я извиняюсь,— сказал он,— мне вредно быть на солнце.

— Ну, а я посижу еще немножко. Уж очень тут здорово.

— Да,— сказал Бороновский,— находясь здесь, лишний раз убеждаешься, как прекрасна жизнь. Вы обратили внимание, как всякий человек уверен, что он не умрет, а если умрет, то очень не скоро. Я раньше удивлялся, как это, например, восьмидесятилетние старики могут думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме смерти... И еще меня всегда поражал факт погребения... Теперь у меня и в том и в другом есть некоторый опыт...

— То-есть как? Ведь вам же не восемьдесят лет, и погребены вы, вероятно, никогда не были...

— Совершенно верно, мне не восемьдесят лет... но доктора предсказывают мне смерть очень скоро. Степан Андреевич смутился.

— Ну, доктора постоянно ошибаются,— сказал он,— один мой родственник тоже вот так был приговорен к смерти, а между тем жив до сих пор...

Кошелев с ловкостью благовоспитанного человека соврал про родственника и потому несколько

skonфyзился, увидав, как радостно вздрогнул и сделал к нему шаг Бороновский.

— И давно это ему предсказали?..

— Да лет... десять тому назад.

— И он в Давос не ездил?

— Да нет... само прошло.

— Вот и я думаю, что тут лечение не поможет, тут судьба. А еще мне кажется, что если очень хотеть жить, то можно и смерть преодолеть. Не знаю, как вы, а я большой сторонник личного бессмертия.

— Правильно,—воскликнул Кошелев.— К чорту смерть!

Он закрыл глаза, закинул ногу за ногу, а руки заломил под голову.

Бороновский долго смотрел на него, словно любовался этим удивительным человеком в белом костюме, который так ловко перескочил через грозное восьмилетие, даже не замарав своих пикежных брюк.

— Не сожгите с непривычки кожу, — сказал он, медленно удаляясь, — впрочем, от ожогов помогает холодная сметана.

Кошелев лежал неподвижно и чувствовал, как пришивают его к земле горячие лучи солнца. Он в это время ни о чем не думал, вернее, думал о том, что ни о чем не думал и предавался пороку праздности, бездельем наслаждался.

Поодаль бухнула вода. Кто-то купался за кудрявым мысом. Степану Андреевичу тоже захотелось влезть в серебристую воду. Он снял три предмета, из которых состояла его одежда: рубашку, брюки и сандалии. Снял, не оборачиваясь по сторонам, со спокойствием и уверенностью, ибо очень любил и уважал свое тело. Это было хорошее мужское тело, в меру мохнатое и в меру мускулистое, от природы немножко смуглое, первобытную нагетую хорошо сочетавшееся с бритым лицом и гладким пробором. Солнце, между тем, с добросовестностью банщика поливало зноем голую спину. Кошелев встал во весь рост и еще раз оглядел зеленые берега. И в этот самый миг громкий зов пронесся над рекою.

— Спасите! — кричал женский голос.

— Те, те, те, — взволнованно тараторило эхо.

— Тону!

— Ну, ну, ну!

Степан Андреевич умел плавать и любил плавать, но он никак не мог сообразить, откуда несется крик. На всякий случай он побежал по берегу вправо.

Тут на траве увидал он полотняное голубое платье, две желтые туфельки и белую, как снег, рубашку. Серые деми-шелк длинные чулки висели на сухой ветке куста.

С реки явственно доносился крик. Кошелев увидал что-то золотое, что исчезало и вновь появлялось

на поверхности. В стороне по течению медленно и самодовольно уплывали, очевидно, оторвавшиеся ханки.

— Держитесь! — крикнул Кошелев и бросился в воду.

С воды река казалась очень широкой и в самом деле страшной. Утопающая, очевидно, умела плавать, но, растерявшись, она бессмысленно бухала по воде, забывая об архимедовом законе, рекомендуемом при плавании погружать в воду все, кроме носа. Она, напротив, выскакивала, чтобы громче крикнуть, и после крика немедленно погружалась и опять выскакивала.

— Оэ! — крикнул Кошелев, отплеываясь от реки.

Два больших глаза с жадностью уставились на него. В календаре Степан Андреевич читал, что при спасании на водах нужно прежде всего утопающего оглушить ударом кулака по лбу, чтоб он не мешал барахтанием, а затем тащить его непременно за волосы. Но такой способ по отношению к даме Степан Андреевич справедливо почитал грубым и неприличным. Поэтому он ограничился тем, что обнял (не без удовольствия) мягкий стан и поплыл к берегу, задыхаясь немного с непривычки от этого плавания с препятствиями. Нащупав ногами дно, Кошелев поднял на руки блондинку — которая была не то, что в обмороке, а

как-то обомлела с перепугу и не шевелилась, и посадил ее на песок.

Да, эта была сработана не по ватерпасу. Золотые волосы — было их по крайней мере на четыре головы — растрепались и рассыпались. Брови были темны и гениально очерчены, должно быть, природа в припадке вдохновения создала это свое творение и не поскупилась на лучший материал. *Modèle de luxe*. Блондинка, между тем, спешно протираала глаза, затопленные водою. Потом она с ужасом уставилась на голого человека, загоразживавшего своим мокрым телом весь зелено-голубой мир. Голый человек наклонился и хотел довольно-таки смело поцеловать ее в губы. Но она рванулась, и поцелуй скользнул как-то по всему телу — начавшись с губ, он кончился где-то возле колени. Блондинка с большой для нее силою ударила спасителя кулаком в грудь и кинулась за кусты, где была разбросана ее одежда, но не остановилась, а, схватив ее, побежала дальше, в гору, на бегу напяливая одежду, как невиданная сирена: наполовину женщина, наполовину платье. Впрочем, напрасно так спасалась блондинка, ибо Степан Андреевич и не думал ее преследовать. Нахотавшись, пошел он к своему платью и тут по дороге увидел забытые на кусте серые деми-шелк чулочки. Он снял их с веточки, свернул, а когда оделся, положил в карман.

Он почувствовал в себе вдруг не больше одного золотника весу.

Откуда-то вдали из зелени вдруг, словно дразнящий язык, высунулся и пропал красный флаг на здании исполкома.

И Степан Андреевич тотчас же в ответ показал ему язык и пошел в гору, приплясывая и напевая:

J'aime les beaux dimanches,
Dimanches de Paris,
Quand les femmes sont blanches
Et que les hommes sont gris.

И вообразите, гражданин, — шестнадцатого какого-то века парижская песня национальным гимном прозвучала в этот миг в Баклажанах.

II.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА БАКЛАЖАНСКАЯ.

Но кто же он, этот таинственный герой в пижамных брюках и в революционной рубашке, подмигивающий небу и показывающий язык самому красному знамени? Не в состоянии ли анабиоза, замороженный по способу профессора Бахметьева, пролежал он все эти годы в погребке какой-нибудь биологической лаборатории и теперь вдруг оттаял на удивление миру, не гражданин ли это России номер два, открыто перешедший в американское

подданство и теперь лишь в Баклажанах прикинувшийся русским? Нет, Степан Андреевич Кошелев настоящий русский гражданин и еще сегодня в вагоне на вопрос кременчугского пассажира:

— Чи ві член профспілки?

Ответил спокойно:

— А як же.

Мало того, с шестнадцатого года никуда не уезжал он из Москвы после того, как вернулся из Одессы, куда ездил добровольцем (в Красный Крест). Ну, так, значит, он партийный работник или сочувствующий, с самого семнадцатого года вскочивший на платформу и покотивший на ней, выражаясь аллегорически, по рельсам успеха и деятельности? И не партийный и не сочувствующий.

Целых два месяца после переворота носил перстень с двуглавым орлом и даже состоял в так называемой голубой гвардии, имея целью довести страну до учредительного собрания. Но потом как-то случилось (он сам не помнит, как, был как бы в затмении), что поступил он на службу в какое-то Вусосо и получил к первой годовщине два фунта масла, сливочного масла, — один фунт на себя, другой на умершую, но еще не выписанную из этого мира тетюшку.

И вот случилось, что после двух фунтов масла — вкусно было оно, если помазать им на углях печурки поджаренный хлебец — из Степана

Андреевича совершенно, ну, вот совершенно выветрились убеждения, и старая мораль вдруг как-то выскочила и покатилаь, как колобок в известной сказке. А кто-то там — лиса, кажется, „ам“ — и сожрала колобок. Вместе с тем на что-то все время ужасно злился Степан Андреевич и, сам того не замечая, усвоил дурную манеру вздыхать, говоря при этом тихо: „ах, сволочи, сволочи!“ Будучи и в мирное время подающим надежды художником, нарисовал он как-то интервенцию с подбитым глазом и вспухшей щекой и получил гонорар. Не будучи корыстен от природы, он тем не менее полагал, что деньги необходимы для жизни, и принял гонорар, философски пожав хотя при этом плечами.

Разумеется, великое значение революции — и именно (да, да) Октябрьской революции — Степан Андреевич сознавал и часто высказывал это, особенно в беседе с коммунистами, ибо был человек вежливый и не хотел обижать высказыванием подобных мнений каких-нибудь старых или просто старого закала людей. Но почему-то после подобных бесед чувствовал Степан Андреевич какую-то злобу и даже физическую тошноту. Бог знает, не завалилось ли у него на дне души какое-нибудь крохотное убеждение, маленький червячок, не околевавший в свое время от сорного пшена. Хотелось иногда пойти на площадь и заорать:

„Вы думаете, я ваш? К чорту! Ничего подобного!“ И даже намечено было место для крика: возле обелиска — лицом к бывшей гауптвахте. После крика кончилось бы благополучие. Крик откладывался: вот завтра закричу.

Однажды даже решился, так сказать, прорепетировать крик и заявил редактору:

— Вы знаете, рисовал я это со скрежетом зубным.

— Мы вам, — ответил тот, — не за скрежет платим, а за рисунки, а рисунки ваши подходящие.

Степан Андреевич в конце концов даже стал проявлять признаки нервной болезни, выразившейся в какой-то прилипчивости к креслу и в ненависти к сожителям по квартире. И вот тут-то пришло письмо от баклажанской тетушки Екатерины Сергеевны, которую он почитал давно умершей.

„Господь милостив, писала тетушка, и пути Его неисповедимы. Дядя твой умер в самом начале Петлюры, а мы пережили всякие ужасы, но вот живы, хотя и с трудом перебиваемся. Вера шьет платья и зарабатывает, а то бы мы вероятно умерли. Вот бы собрался к нам на лето, уж и не знаю, как были бы рады. Мясо у нас пять копеек фунт, курица сорок копеек, масло тридцать. А как у вас?“

Степану Андреевичу очень понравился тон письма, и еще было в нем нечто, придававшее ему

какую-то солидность, он сначала не понял, что. Потом догадался: яти и еры, аго и яго и его (про бога) с большой буквы. У Степана Андреевича на летний отдых отложены были ресурсы. Он отряхнул прах (хотя захватил две неспешные рукописи на предмет снабжения их иллюстрациями) и поехал в Баклажаны.

* * *

От реки зелеными уступами кверху шел сад кошелевской усадьбы, обнесенный забором с дырами, вернее, дырами с забором, кудрявый фруктовый сад, где еще и теперь на деревьях висели давно заржавевшие бляхи с номерами и названиями, которых никто уже никогда не читал.

Обрубленные ветки, в разрезе закрашенные белой краской, среди зелени круглились белыми пятнами, словно видимое отражение невидимого хозяйского глаза. Но гений и вдохновитель этой зеленой сени, Александр Петрович Кошелев, давно покоился на тихом баклажанском кладбище.

Степан Андреевич сорвал и съел сочный оранжевый абрикос. Подходя к террасе, услышал он голоса и остановился под прикрытием величественной двухствольной груши.

Он сразу узнал голос Бороновского, хриплый, щекочущий гортань голос, словно говоривший не

догадывался прокашляться. Но говорил он восторженно.

— Посмотрите, Вера Александровна, как то облако, вон то беленькое, похоже на корабль. Сесть бы на этот корабль и все плыть и плыть и смотреть на голубое море. Солнце сияет, ветер такой, знаете, благоприятный, и все так нежно. А потом бы пристать к какой-нибудь тихой гавани, где на берегу много зелени. Я из деревьев больше всего люблю вербу. Сесть на траве под вербой у самого моря и смотреть, как парят над волнами чайки и альбатросы. Помните, как чудесно ответил Пушкину митрополит Филарет:

„Не напрасно, не случайно...“ А-а-а...

Какой-то страшный звук исторгся из горла, словно железные клещи вдруг сомкнулись на самой гортани. Степан Андреевич даже вздрогнул было, подумав, не затеяла ли Вера удушить разболтавшегося влюбленного, но тут же понял, что это просто кашель, страшный кашель, с мукой исторгаемый из самых недр существа.

— Вам вредно так много говорить,— сказала Вера спокойно и деловито. Она должно быть шила.

— Ничего... а-а-а... ничего...

Он долго молчал.

— Улететь бы,— заговорил он вдруг, только гораздо тише,— все бы страны осмотреть, со

всяким человеком побеседовать. И почему нельзя этого?

— Кто же вам мешает.

— Один я никуда не улечу, Вера Александровна, а с вами хоть в подземное царство Плутона... Хоть на край света.

— А зачем мне идти на край света?

— Сели бы мы там на травку. Вы бы шили, а я бы на вас любовался.

— Я и здесь шить могу. Для этого не нужно отпрапляться на край света. Ну, а смотреть на меня вам бы скоро наскучило.

— Не наскучило бы, Вера Александровна, за это я могу вам поручиться. Ведь когда я о вас думаю только, у меня сердце так и замирает, словно с горы качусь. Удивительная вещь — любовь. Я где-то читал интересное объяснение. В старину были люди о двух головах, о четырех руках и о четырех ногах... И вот, представьте, что какой-то злой гигант разрубил их всех на две половинки и половинки эти расшвырял по всему миру... С тех пор одна половинка ищет свою другую и когда находит, томится любовью... Вы согласны, что в этом сказочном толковании есть кое-что справедливое?

— Что ж, по-вашему, я ваша половинка?

— Вера Александровна, разве я бы... посмел... а-а-а-а-кха.

— Вам помолчать надо.

— Да ведь нужно же мне сказать вам про любовь мою.

— Совсем не нужно.

— У меня тогда, Вера Александровна, грудь лопнет.

— Ничего у вас не лопнет. Все это глупости...

— Жестокая! Вы, вероятно, никогда не знали любви.

— Знала или не знала, а болтать об этом во всяком случае считаю лишним.

— Да ведь тяжело это, Вера Александровна, в себе таить. Поэты в таких случаях стихи пишут, и им после, говорят, легче. Увы, муза меня не посещает, и таланта к стихотворству у меня нет, хотя в гимназии я недурно писал сочинения даже на отвлеченную тему. Ну, улыбнитесь, Вера Александровна, ну, скажите, ведь я не вовсе противен вам? Вам меня по морде бить не хочется?

— Ну, что вы говорите, Петр Павлович! Я никогда еще никого по морде не била.

— Куда же вы?

— За нитками.

На террасе стало тихо.

Степан Андреевич подошел к лесенке и остановился, удивленный. Стоя на коленях, Вороновский целовал пол, и — так казалось Степану Андреевичу — слезы падали из-под его бровей.

Степан Андреевич пошумел ветками жасмина, и Бороновский быстро, хоть с трудом, поднялся.

— А я, знаете... двугривенный потерял, — пробормотал он смущенно, — очень жалко, хоть деньги и ничтожные.

Степан Андреевич сел в плетеное кресло и замер в блаженном бездельи. Давно еще Лукреций сказал, что ничего не может быть приятнее, как смотреть с тихого берега на тонущий в бурю корабль, или, сидя у спокойного очага, слушать вести о войне. И Степан Андреевич ощущал, что для полноты блаженства ему нужно поговорить с этим человеком, нужно выслушать от него какое-нибудь жуткое признание.

— А вы, повидимому, неважно себя чувствуете? — спросил он, и сам испугался слишком уж явной лицемерности своего тона.

— Да... по правде сказать, неважно. Болезнь уж очень разрушительная, хотя вот вы сами говорили, что один ваш знакомый поправился. Впрочем, когда-нибудь, выражаясь словами поэта, „мы все сойдем под вечны своды“. А какие они, эти вечные своды, вот этого уж не откроет ни один литератор. Я, вы знаете, вообще очень интересуюсь этим вопросом. Смерть — поразительное явление. Взять, например, такого человека, как ваш дядюшка покойный, Александр Петрович. Какая это была энергичная личность... И как его все уважали у

нас в Баклажанах... Вот уж, действительно, был судья нелицеприятный, и судиться у него любили самые закоренелые преступники.

— Он какую должность здесь занимал?

— Он был председатель съезда мировых судей. Большая должность — второе лицо в городе. А при этом он успевал и сад поддерживать, да как... Каждое деревцо смотрело именинником. Дорожки были все посыпаны песком, на всех склонах был посажен виноград, и он отлично вызревал и был не хуже крымского. С пяти часов летом он возился в саду, подстригал деревья, окапывал, прививки делал. А зимой работал на токарном станке. Вера Александровна тогда маленькой была, так он ей делал игрушки из дерева. Ну, просто поразительно, как в магазине. А сколько он читал, особенно про путешествия. Читает и непременно на карту смотрит, чтоб знать, где это. И он бывало говорил: „Я вполне доволен своею жизнью в Баклажанах, но мне приятно сознавать, что где-то есть, например, Нью-Йорк или Пекин“. И вы знаете, он искренне расстраивался, когда какой-нибудь город, благодаря землетрясению, исчезал с лица земли. Такие города он всегда отмечал черным флажком. А как уютно было у них в доме, как он обо всем заботился! Когда Вера Александровна родилась, он в тот же день поставил в подвал ведерную бутылку вишневки и написал на ней: дочь Вера

родилась тогда-то. Эту вишневку нужно было выпить в день ее бракосочетания.

— Ну, а где же теперь эта вишневка?

— Добровольцы выпили. Да. И хорошо, что он не дожид до всего этого. Ведь при Петлюре в этом саду стоял кавалерийский отряд в двести человек, и лошади дерева объедали. Один раз ворона сюда человеческий палец занесла. Поверьте, у меня сердце переворачивалось. Да... И вот такой человек вдруг умер, то-есть перестал существовать, и его, словно вещь, закопали в землю. Прекрасно сказал на его похоронах наш владыко: „Вы зарыли только его плоть, но сам он остался среди вас, и если будет какая опасность, он вас предупредит“. И был же какой случай: когда становилось здесь уже тревожно, Вера Александровна сидела и шила вечером в своей комнате. Окно в сад было открыто... И вот Вера Александровна услышала, что кто-то позвал ее из соседней комнаты, и знаете, так настойчиво позвал. Она очень удивилась, потому что никого в той комнате не было, но все-таки пошла. А в это время позади нее вдребезги разлетелась хрустальная ваза. Кто-то выстрелил в окно из ружья, и пуля пролетела как раз там, где сидела Вера Александровна.

Бороновский умолк, очевидно, взволнованный рассказом.

Степан Андреевич почувствовал, что сердце у него вдруг сжалось от давно неиспытанного, настоящего дореволюционного мистического страха. Так, бывало, замирало оно, когда заглядывал он еще ребенком в детской за платяной шкаф. Ощущение этого страха было так неожиданно и так приятно, что Степан Андреевич пожалел, что на террасе вдруг появилась его тетушка.

Это была маленькая, сухонькая, совершенно беззубая старушка с лицом, на котором застыло выражение восторженного умиления. Она была такая хрупкая, что Степан Андреевич, разговаривая с нею, всегда опасался свалить ее громким словом. Между тем, говорить приходилось громко, ибо Екатерина Сергеевна была уже туговата на ухо.

— Ну, вот, — сказала она, — сейчас будем чай пить.

Лицо ее изобразило вдруг безграничный, но восторженный ужас.

— Степа, — сказала она торжественно, беря Степана Андреевича за руку и подводя его к перилам, — я хочу тебя предупредить. Видишь, там в саду хлопот дерево трусит. Так знай, это Ромашко Дьячко, а это такой жулик, каких еще не было. Дьячки — наши соседи, мы им сад сдали за то, чтобы половину фруктов нам. Сейчас он с матерью, поэтому не бойся, но когда он один, знай, что он непременно все украдет. Ну, вот воронье крыло —

дверь маслом смазывать, так он и крыло стащил. И отец его бьет, и мать, и бабушка. Будь с ним очень осторожен. Вон он ходит.

Степан Андреевич увидел небольшого кудрявого хлопца, тащившего по саду ведро с абрикосами. За ним шла печального вида женщина в синем платке на голове, тоже с ведром.

— А еще, Степа, я должна тебе сказать: ты видел нашу Марью, которая на кухне готовит... Ну, так не верь ей... Что бы она ни сказала, знай — она лжет. Ну, вот сейчас утверждает, что я не говорила ей поставить самовар... А я ей повторила несколько раз... И так во всем... Я прямо говорю: Марья наш бич. Но мы не можем без нее. Она прожила у нас все эти годы, и к тому же в двадцатом году ее казак обидел, а ей лет уже немало... и потом мы ей ничего не платим...

Екатерина Сергеевна повернулась, споткнулась о кучку небольших булыжничков, сложенных возле перил, в роде тех булыжников, которыми мостят шоссе, и со стоном полетела на пол.

Степан Андреевич даже глаза на миг закрыл, ибо был уверен, что тетушка рассыплется на составные элементы. Но, не слыша звона осколков, он кинулся вместе с Вороновским ее поднимать.

— Вот глупые булыжники, — сказал он, — и зачем они тут валяются!

Он сделал было движение — пошвырять их в сад, но тетушка со страхом остановила его.

— Это верины камни,— сказала она тихо, — надо их сложить.

— А вы не расшиблись, Екатерина Сергеевна? — спрашивал Бороновский.

— Нет, нет... коленку немножко, так от этого деревянное масло... Только камни надо подобрать.

— Да зачем Вере эти камни понадобились? — удивлялся Степан Андреевич, помогая складывать кучку у перил террасы.

Тетушка приложила палец к губам, ибо сама Вера Александровна появилась на террасе.

Нет не Вера, не Вера Александровна Кошелева вошла в этот миг на террасу, — то вошла шекспировская королева из самой торжественной и никем еще не читанной хроники, та самая, которая по прихоти какого-нибудь Генриха в наказание появилась перед народом в веревочных туфлях и в платье из старой ситцевой шторы, но при этом так гордо закинула голову, что сам архиепископ кентерберийский устыдился своей шелковой рясы, а прочие разодетые дамы так и вовсе плакали навзрыд и громко каялись в постыдном своем кокетстве. Королева надменно несла свою величественную грудь, и сам Дон-Жуан при виде этой груди спрятал бы за спину цепкие свои руки.

. — Самовара, конечно, еще нет? — спросила она насмешливо и прибавила, — бедный Степа... вы скоро раскаетесь, что заехали к нам... Вы будете погибать от голоду, но никто вас не накормит, вы будете умирать от жажды, но вам не дадут чаю... Вы теперь зависите от Марьи, бедненький Степа, а для Марьи не существует время.

— Вера, Верочка, — сказала Екатерина Сергеевна, — ведь ты же знаешь, что это наш крест...

— А то еще, Степа, ждите и того, что вам утром нечем будет умыться... Это, если Марья не заблагорассудится налить с вечера воды в умывальник... Такой случай был с нами на прошлой неделе...

— Верочка, не надо... ты только себя мучишь.

— Нисколько я себя не мучу, — вдруг резко крикнула Вера, сверкнув глазами, — это ваше воображение, мама, что я могу из-за этого мучиться... Мне жалко вас и жалко Степу, который доверчиво принял наше гостеприимство. Сама я проживу на хлебе и на воде...

— Вы то уж известная постница, — ласково сказал Бороновский.

— За известностью я не гонюсь, Петр Павлович, поэтому я не понимаю, о чем вы говорите.

Степан Андреевич быстро посмотрел на Бороновского и тотчас отвернулся, так ужасно задергалось и запрыгало его лицо. Словно дернули его за невидимую веревочку.

— Вы меня не поняли, Вера Александровна.

— Ну, что ж, если такая дура, что не понимаю простых слов, то лучше не говорите со мною... Ха, ха, ха...

Она именно просто сказала: „ха, ха, ха“, при чем в глазах ее вспыхивали и потухали зарницы.

В это время дверь с шумом распахнулась, и на террасу ввалилась с самоваром в руках старуха с лицом средневековой ведьмы, в страшно грязном платье, так что, казалось, вылезла она прямо из помойки. Самовар шипя влек ее за собой и, наклонившись вперед под углом в сорок пять градусов, она шла вопреки всем физическим законам о центре тяжести. Она с треском поставила самовар на стол, поправила конфорку, вытерла нос пальцами, а пальцы о подол юбки, все это при полном и торжественном молчании окружающих, и затем, добродушно перекосив лицо в улыбку, прохрипела басом:

— Самовар поспев, можно чай пить.

Затем она подошла к лестнице, поглядела с интересом в сад, опять вытерла нос, потом попробовала, прочно ли стоит самовар, и наконец ушла, подняв с полу какую-то соринку.

Зловещее молчание проводило ее.

— Мне больше всего нравится, — проговорила Вера, — что Марья даже не раскаивается в своей лжи... Соврать для нее все равно, что для другого

чихнуть... Совесть ее несколько не мучит... Ей, например, и в голову никогда не придет попросить прощения... По-моему, мама, она просто не верует в бога.

— Ну, что ты, Верочка...

— Христиане, мама, не лгут, а если и лгут, то потом каются...

— И она раскается...

— Ну, полно об этом... Вы, Степа, лучше расскажите про Москву.

Степан Андреевич рассмеялся.

— Подождите, дайте опомниться... Я чувствую себя здесь, ей-богу, марсианином... Последнее мое воспоминание о Москве, это пионеры, идущие с барабаном по улице. А когда я сегодня утром вылез из вагона, первое, что я увидел, это платок бабушки Анны Ефимовны.

— А ты узнал платок. Это я тебе прислала, чтоб тебя в степи не продуло. Тебе его передал Быковский... Он хотя и еврей, но отличный ямщик.

— Как же не узнать этого платка! Когда мне было еще семь лет, я, бывало, садился у кресла бабушки и делал из бахромы косички... Одна косичка так и осталась на платке, я ее сегодня нашел, когда ехал...

— А в степи не холодно было? Ведь ты ехал очень рано...

— Ну, что вы! Жара страшная.

— А фэзтон у Быковского тебе понравился?

— Отличный фэзтон!.. Вот едем мы, едем, и вдруг этот самый Быковский сворачивает с дороги и срывает фуражку. И навстречу нам в шарабане мчится какой-то монах с белой бородой и вот в эдаком клубуке... Красавец такой...

— А, это владыко,— сказала Вера, зарумянившись от удовольствия, — он, верно, к Демьянову поехал... святить мельницу.

— Да, мне Быковский сказал, что это владыко... У нас в Москве тоже есть всякие архиереи, но они стараются проскользнуть как-нибудь незаметно, а этот едет, и видно, что он тут первое лицо... Один посох чего стоит...

— Да, наш владыко строгий и очень чтимый...

— Отличный владыко... Да. Все, все здесь совершенно не похоже на Москву... Ну, взять хоть ваш дом... Какие комнаты. Все на своем месте, старинное, крепкое. Я люблю основательные вещи. Уж если старик, так чтоб лет ста, если кресло, чтоб свернуться в нем калачиком, выспаться, отлежаться... Например, вот эта комната... Да таких комнат в Москве просто нет... Их давно перегородили на десять частей, и в каждой закутке поселили семью в пять человек... Честное слово!

Он в припадке восторга встал и зашел в комнату.

Это была в самом деле очень большая и уютная гостиная с трельяжами и мебелью красного дерева. В углу стоял старый палисандровый рояль. Стены были увешаны портретами и гравюрами — наследие бабушки Анны Ефимовны. В самом темном углу мерцала лампадка, и золотые ризы бледно сверкали. Маленький огонек напрасно силился затмить яркий день, напиравший из окон и дверей, и святые с неудовольствием, казалось, прятались в золоте свои черные лица.

— А во что превратились люди, — продолжал Степан Андреевич, выходя на террасу, — до чего все изоврались.

— Ну, враньем вы нас, Степа, не удивите... Так, как лжет Марья, никто не может лгать.

— Ну, Марья — простой, необразованный человек, а у нас врут профессора... А женщины? Как себя ведут женщины! Вы читали Нана? Ну, так Нана перед ними святая... Хоть мощи открывайте... Пьют, целуются с кем ни попало.

Говоря так, Степан Андреевич как-то невольно и нечаянно облизнулся и смутился, и тотчас продолжал с нарочитым негодованием. Он увлекся своей моральной, в этот миг, высотой:

— Молодых девушек в обществе иногда рвет.

— От отвращения? — спросила Вера.

— Какое от отвращения! От вина. Я, например, Вера, смотрю на вас и восхищаюсь. Вы ведете

свою линию от тех русских женщин, которых воспевали старые поэты. У вас есть костяк.

— Да, Вера худеет,— сказала со вздохом Екатерина Сергеевна, разливав чай,— прежде ты бы у нее ни одной косточки не прощупал.

— Мама, вы уж дайте Степе рассказывать, замечания ваши не всегда бывают удачны.

— А семья? У нас нет семьи... Женщины не рожают детей, чтоб иметь возможность пить вино и кривляться в театральных студиях. Какая-нибудь девчонка, научившаяся произносить монолог, стоя на голове, уже считает себя второй Саррой Бернар... Одна мне сказала: „Я не могу иметь семьи — семья, это тенета на крыльях гения“. Понимаете, никто не живет первыми интересами. Пошлейшая клоака... Потом, вот вы недовольны вашей Марьей. А знаете, какая у нас в Москве прислуга? Отработала свои восемь часов, и в кино или на какое-нибудь заседание. Честное слово! Хозяйка за ней, как за барыней, убирает.

— Я бы такую прислугу сразу вон выгнала,— сказала Вера, сверкнув глазами,— глупые хозяйки.

— Боятся. Профсоюз. Чуть что — в суд. Ну, просто безобразие! Вот вам: „мы наш, мы новый мир построим“.

— Осторожнее при Петре Павловиче,— сказала Вера,— он спит и видит статью большевиком.

— Вера Александровна, уж это нехорошо.

— Конечно, вы вчера еще кричали: искусство устарело... Не надо нам ни Сурикова, ни Айвазовского, подавай нам футуристов.

— Вера Александровна, я не то говорил. Я говорил только, что когда я в четырнадцатом году был в Москве, то у Маяковского был талант и какая-то искорка.

— Петр Павлович и в бога не верует.

— Вера Алесандровна, вы на меня клеветеете... Я пантеист в роде Спинозы...

— Ну, уж не знаю, в роде Спинозы или не в роде, а постов вы не соблюдаете.

— Я не могу по состоянию здоровья.

— Крепко же вы веруете... Ну, скажите, Степа, как у вас в Москве относятся к Петру?

— К какому Петру?

— К блюстителю патриаршего престола.

— А к нему... прекрасно относятся.

Наступило молчанье.

Степан Андреевич впервые услышал, что Петр блюдет патриарший престол. Ему представился этот престол в виде огромного золотого с бархатом кресла, и как нарочно лезло в голову дурацкое: ходит вокруг кресла их бывший швейцар Петр в золотой рясе и ловит моль — блюдет престол патриарший...

Небо между тем становилось бледнее и на земле сгущалась зеленая тень — к шести часам шло дело.

— А что еще очень забавно после Москвы, так это украинский язык. Во-первых, от „и с точкой“ я за эти семь лет вовсе отвык.

— Почему отвыкли?

— Да ведь теперь его не пишут...

— Не знаю, как другие, а я пишу.

— У нас нельзя... Все перешли на новое правописание, даже ученые. И это ведь, знаете, еще Мануйлов вводил. Но украинский язык пресмешной. На вокзале в Харькове, например, театральная афиша: „Ехидство и коханье“. Как вы думаете, что это такое?

— „Коварство и любовь“,— сказала Вера, даже не улыбнувшись,— если язык наш для вас смешон, так это потому, что вы его не знаете. А для украинцев смешон русский.

— Вы говорите „наш“, разве вы украинка?

— Я родилась в Украине и всю жизнь в ней прожила... И я знаю одно, Степа,— большевики к нам из Москвы пришли, заметьте это.

— Вера Александровна великая самостийница,— вставил, улыбаясь, Бороновский,— при Петлюре она все флаги вышивала — голубые ~~и жел-~~тым.

— Да, конечно, если разобраться, то язык, как язык... но...

— Но заметьте, Вера Александровна,— проговорил ласково Бороновский,— что, например,

богослужение на украинском языке не прививается. Вот моя соседка хуторянка прямо говорит: „Не гоже на храме, як на базаре, калякати“.

— Это какая хуторянка? Дарья Дыменко?

— Ну да.

— Так она же дура. Вы, Петр Павлович, удивительно умеете хорошо подбирать примеры... Вы, должно быть...

И вдруг Вера умолкла и напряженно стала прислушиваться.

Словно шел кто-то по саду, бормоча или хрюкая, или даже напевая тихо в нос.

— А ведь это Лукерья идет,—сказала Вера, изменившись в лице.

Екатерина Сергеевна вся как-то задрожала и поставила на стол недомытую чашку.

И тут все увидели у террасы медленно передвигающуюся уродицу с перекошенным лицом — казалось, задохлась она за щеку целое яблоко. Глаза смотрели бессмысленно, за плечами болтался баул. При каждом шаге нищенка опиралась на посох, который словно втыкала в землю, а потом подтягивалась. Сквозь изодранное платье желтели куски немытого тела. Уродица остановилась, вкопав в землю посох, и затынула гнусаво: „Подайте, мамуся, подайте, татуся“.

Степан Андреевич не успел опомниться. В следующий миг Вера кинулась к куче камней и

принялась швырять их в нищенку, отбиваясь от Петра Павловича, который хватал ее за руки, а уродица мчалась по саду быстро, как газель, размахивая посохом и подобрав юбку на поларшина выше колен. Один камень таки угодил ей в мешок.

— Пустите, я убью ее! — крикнула Вера и так рванулась от Петра Павловича, что тот налетел на стол, и самовар заплясал на нем вместе с чашками.

Екатерина Сергеевна стояла, сложив молитвенно руки. Степан Андреевич не знал, что делать.

Вера вдруг поглядела на него, и лицо ее покрылось пятнами.

— У меня с этой подлой счеты, — сказала она и захохотала и хохоча выкрикивала: — вы видели, как она бежала, как бежала... Как бежала...

И все хохотала, и слезы градом текли у нее по щекам, и, наконец, вскочив с кресла, кинулась она в комнаты, а за нею Екатерина Сергеевна, споткнувшись о порог и подпрыгнувшая при этом чуть не на целый аршин.

— Что такое? — пробормотал Степан Андреевич. — Она с ума спятила!

Бороновский, бледный, как воск, хотел улыбнуться, но подбородок у его вместо этого запрыгал во все стороны и челюсть застучала, как при ознобе.

— Эту нищенку в прошлый раз Вера Александровна прогнала, а та ей издали показала дулю... Ну и вот... Вера Александровна очень вспыльчивый и самолюбивый человек.

— Что же, она эти камни для этого и припасла? Бороновский ничего не ответил, а запахнулся в пиджак и все стучал челюстью.

— Простите,— сказал он,— я домой пойду... Мне что-то холодно... У меня к этому времени жар повышается... Немножко я пересидел свое время...

Он ушел на цыпочках, беспокойно оглядев окна белого домика. Степан Андреевич тоже ушел с террасы.

„Странные люди,— думал он,— какие-то бешеные темпераменты“.

И опять ощупал в кармане чулочки.

На дворе, между двумя пустыми ведрами, сидел хорошенький хлопец и забавлялся тем, что засовывал себе в нос стебелек. При этом он чихал и хохотал от удовольствия. Перед ним стояла старая Марья, словно аист, на одной ноге и скребла рукою пятку другой ноги, обутой в грязь и мозоли. Два пса вертелись тут же и валялись в траве, рыча от восторга.

У хлопца были очень славные курчавые волосы.

Степан Андреевич подошел и хотел потрепать его по голове, но тот отскочил вдруг и схватился за уши.

— А вже ж вы его не бейте,— сказала Марья добродушным басом,— це хлопец добрый...

— Да я его не собираюсь бить... Хотел по голове потрепать... Больно кудрявый...

Хлопец улыбнулся и зарделся.

— Вот что,— сказал Степан Андреевич,— на тебе полтинник, сбегай за папиросами, тут на углу лавка... А то я что-то себе сандалией ногу стер... На пяточок можешь себе конфет купить, а остальное принеси.

— О, спасибо,— сказал хлопец, и у него даже видно дух захватило. Он побежал.

Марья между тем переменила ногу и принялась скрести другую пятку.

Степан Андреевич пошел в отведенную ему комнату.

Это была чистая, большая, выбеленная, с крашевыми полами комната. Окна выходили прямо в сад, мебели было немного: кровать, кресло, стол и зеркало в простенке между окнами. Все это было прочное, старое, без обмана. Еще на стене висела странного содержания большая картина:дохлая крыса на талом снегу, придавленная кирпичом.

У Степана Андреевича вдруг сказалось дорожное утомление. Мысли спутались. Он скинул сандалии, лег на постель и заснул так сразу, словно провалился в какую-то яму.

III.

ЭКСТРЕННАЯ НЕУДАЧА.

Он проснулся, не понимая, где находится.

Кто-то тихо тыкался вокруг него в темноте на фоне двух больших зеркал, где отражались какие-то серебряные снега.

— Проснулся, Степа,— слышался голос Екатерины Сергеевны,— неужто я таки тебя разбудила?

— Помилуйте... серого сна вполне довольно,— пробормотал Степан Андреевич, еще не вполне очухавшись. Слово „серый“ резнуло его своею нелепостью, и он сразу проснулся. Он увидел, что за зеркала он принял окна, за которыми застыл облитый лунным сиянием сад.

Он зажег свечу и надел сандалии.

— А у нас сидит Пелагея Ивановна,— умиленно говорила Екатерина Сергеевна.— Ну и заспался же ты... Я ко всеобщей ходила и уже вернулась... Завтра ведь Казанская.

— Да, да... правда.

— Пойдем ужинать... Пелагее Ивановне интересно будет с тобой познакомиться. У нее в Москве есть знакомая...

— А кто это Пелагея Ивановна?

— Матушка... нашего приходского батюшки, отца Владимира, жена.

— А что Вера успокоилась? — спросил Степан Андреевич, зевнув и равнодушно приглаживая руку пробор.

— Помолилась и успокоилась. Господь ее не покидает... А то с ее нравом просто беда была бы... Но молитва сохраняет... Ты ей только уж не напоминай про Лукерью. И ведь какие наши собаки подлые. На заказчиц вериных лают, а на нищих хоть бы разочек тявкнули. . Ну, словно пропали — не лают, и все тут.

Они вышли в сад и пошли к светлому пятну террасы, желтевшему среди лунного серебра. Где-то на реке пел громкий и стройный хор, словно в опере „Черевички“. Подходя к террасе и еще не вступая в полосу ее света, Степан Андреевич в изумлении остановился.

— Кто это? — спросил он тихо, кивая на внезапно явившееся, озаренное лампой виденье.

— А это и есть Пелагея Ивановна, — сказала тетушка, — ты погляди на нее, она очень миленькая.

Попадья что-то говорила, наставительно подняв пальчик. Вера, склонившись над работой, молча слушала и усмехалась.

Степан Андреевич с нарочитым эффектом внезапно появился в полосе света. К его изумлению, увидав его, матушка мало проявила удивления. Она слегка поджала губки, протягивая ему свою прекрасную с родинками руку, словно хотела

сказать: „За спасенье благодарю, а целоваться было довольно нахально“.

— Вот позвольте вас познакомить, это мой племянник Степан Андреевич, покойного Андрея Петровича сын... А вот это Пелагея Ивановна Горлинская, отца Владимира супруга... Вы ведь, кажется, Пелагея Ивановна, интересовались про свою подругу узнать, ну, так расспросите... Степа, я думаю, не откажется сообщить вам все, что знает...

— Боюсь, что я обману в данном случае ваши ожидания,—любезно проговорил Степан Андреевич, чувствуя, как слабеют его коленки от красоты попадьи.— Москва так велика и обширна, а порядка в ней нет.

— Моя подруга живет на Таганке, Дровяной переулок, двадцать второй дом.

— Дровяной переулок... гм. Я живу на Плющихе.

— Ее фамилия Свистулька... Татьяна Романовна.

— Свистулька? — переспросил Степан Андреевич.

Должно быть, Веря усмотрела в его тоне что-либо обидное, ибо, подняв голову, спокойно сказала:

— Покойный Свистулька, ее отец, был большой друг папы и здешний земский начальник. Мы его очень любили и уважали.

— Ну, я же не сомневаюсь, — поспешил сказать Степан Андреевич, ибо начинал Веры побаиваться, — к сожалению, — обратился он к Пелагее Ивановне, — я ничего не могу сказать про вашу свистульку.

Ну, конечно, Степан Андреевич хотел сказать „подругу“. Язык, как говорится, подковырнул скверный оборотец, но тут помогла неожиданно тетушка.

— Наши здешние фамилии и впрямь странные, — сказала она, — ну, вот хоть пекарь здешний, огромный дядько, с эту дверь, а фамилия его Фимочка. Я раз зашла к водовозу насчет воды, а жена водовоза мне и говорит: он, говорит, на сеновале с Фимочкой.

— Мама, — сказала Вера, — я уже говорила вам, что ваши рассказы не всегда бывают удачны.

— Таганка очень далеко от Плющихи, — сказал Степан Андреевич, — да и потом в Москве столько народу. Разве всех можно знать... Вы в Москве изволили бывать?

— Нет, не приходилось. А в Харькове я бывала.

— Вы коренная баклажанка?

— Мы с Пелагеей Ивановной в Баклажанах родились, — сказала Вера, — и в Баклажанах умрем... Я, по крайней мере, непременно умру в Баклажанах.

— Верочка, ну, к чему это... на ночь.

— Да ведь я, мама, не вечный жид. Когда-нибудь умру. Вы, Степа, как относитесь к смерти?

— Не люблю. Сегодня на берегу реки...

— До свидания, — сказала вдруг Пелагея Ивановна, — я вспомнила про одно дело.

— Да полноте, дайте рассказать Степе, — с удивлением вскричала Вера, — какое у вас дело?

Пелагея Ивановна молча села, но глазки ее стали строги.

— Сегодня на берегу реки мы беседовали об этом с вашим приятелем и решили, что — да здравствует жизнь, но, конечно, жить надо умеючи. Между прочим, у вас тут русалки не водятся? У вас ведь тут Полтавщина... Русалочье гнездо. Сам Днепр недалеко.

Степан Андреевич вдруг почувствовал, что пьянеет, так сказать, на глазах у почтеннейшей публики, и хоть глупо было пьянеть без вина, и он это сознавал, а все признаки опьянения были налицо, и хотелось выкинуть что-нибудь и болтать без конца умиленную чепуху, хотя бы и при неодобрительном молчании собеседников.

— А скажите, — воскликнул он вдруг, неожиданно даже для себя громко, — у вас тут в Баклажанах фокс-трот процветает?

— Фокс-трот, — произнесла Вера удивленно, — это что такое?..

— Как, вы не знаете? Ну, я же говорил, что вы женщина, воспетая Некрасовым или Тургеневым... А вы, Пелагея Ивановна, тоже не знаете?

— Это танец такой, — конфузливо прошептала та.

— Ага! Вы таки знаете! Да, это танец... Но это не простой танец в роде какого-нибудь там па-де-труа или венгерки... О, это знаменитый танец... Этот танец танцует сейчас весь мир, его танцуют миллиардеры на крышах нью-йоркских небоскребов, танцуют до того, что валятся с небоскреба прямо на улицу и, не долетев вследствие высоты, разлетаются в порошок, которым потом пудрятся все их родные по женской линии... Думаете, преувеличиваю? Ей-богу... его танцуют убийцы в притонах Сан-Франциско, его танцуют парижские модистки и английские лэди — правнучки Марии Стюарт... Это *Disco massacre* великой европейской культуры, это грозный танец, его боятся даже те большевики, которые ничего не боятся... У нас в Москве танцующий фокс-трот считается контрреволюционером.

— А какое в нем па? — спросила Екатерина Сергеевна. Ей, должно быть, при этом вспомнился институт, где когда-то стучала она ножкой, откидывая докучливую пелеринку, может быть, вспомнился и какой-нибудь старичок-танцмейстер, который большую часть урока проводил, сидя на

пóлу, рúкою переставляя непокорные каблучки и восклицая: „Эх, дитё, вам бы две телячьих ноги с боку привесить“.

— О, па самое простое и в то же время очень трудное.

— А как держатся?..

— Я вам сейчас нарисую...

И он быстро набросал на вериной папирсной бумаге пару, танцующую фокс-трот, явив при этом всю свою рисовальную технику. По привычке даже поставил две буквы С. и К. Пожалел, что никто не уплатит гонорара... А, может быть, и будет оплачен рисунок особой валютой?

— Да ведь они лежат? — сказала удивленно Екатерина Сергеевна.

— Нет, вы, тетя, смотрите сбоку... Вот отсюда надо смотреть на рисунок...

На секунду умолкли все, а Степан Андреевич пытливо всмотрел на склоненную золотую головку. А там, в саду, совершалось загадочное таинство украинской ночи, и, должно быть, это она так пьянила.

— И красивая музыка? — спросила Вера, отстраняя рисунок.

— Хотите, сыграю...

— Сыграйте... Вот хорошо иметь двоюродного брата — и художника и музыканта... По крайней мере, просветит нас.

— Я еще и член общества спасанья на водах! — брякнул Степан Андреевич, идя в комнату.

Степан Андреевич прошел в гостиную, где теперь без всякой уже конкуренции мерцала неугасимая. И лики святых были спокойны, ибо молитва — ночное дело. Свет падал на клавиатуру рояля. Террасы отсюда не было видно, но Степан Андреевич сквозь стену чувал — насторожилась. Он, все еще пьяный, тронул клавиши... У большого святого был поднят палец, словно святой приговаривался слушать и просил не мешать. Степан Андреевич подмигнул ему. Печальными и мерными синкопическими скачками помчались на террасу звуки, и должны они были по заданию поглощаться сердцем блондинки и таять на этом сердце, как снежинки на горячей ладони. А перед Степаном Андреевичем, вдохновленным и пьяным, развернулся огромный ночной мир, и казалось ему, что сидит он в какой-то таинственной калифорнийской таверне, где прислуживают нагие красавицы и улыбаются пунцовыми губами, а он плачет, отшвырнув в сторону соломинку и разлив пунш, плачет, как гимназист, о тихом баклажанском саде, о нежной блондинке, на любовь ему не ответившей. И уж слезы туманили его глаза, а он все играл, и уж сердце его замирало от тоски и непонятных желаний, а он все играл, и внимательно слушал его, подняв черный палец, святой в золотой ризе.

И, бросив в ночь три громоподобных аккорда, которыми полагал добить робкое баклажанское сердце, кинулся он на террасу.

И что же он увидал? На том стуле, где он только что сидел, теперь сидел худой священник с острым, как бритва, лицом, с большим шрамом над правой бровью и жидкой мефистофельской бородкой.

Атрибуты священства — соломенный полуцилиндр и длинная палка — лежали на столе. Священник говорил, а три женщины внимательно его слушали.

— Степа, познакомьтесь, это отец Владимир, — сказала Вера, — вы только послушайте, что он рассказывает.

Священник встал и низко, но с достоинством поклонился, протягивая руку. Потом сел и продолжал прерванный рассказ:

— Тогда все...

— Простите, отец Владимир, — перебила Вера, — Степе будет интересно услышать сначала... Не правда ли, Степа, да и мы выслушаем с удовольствием второй раз.

Степа молча и робко кивнул головой.

— Дело в том, что завелся тут у нас обновленческий епископ, некий Павсихий, — быстро и с украинским акцентом заговорил священник, — человек беспринципный и пронырливый. У него и

брат коммунист и в Москве связи. И он пожелал отслужить в прошлое воскресенье литургию в Щевельщине... у нас тут монастырь такой—Щевельщинский... Женский монастырь. Монахини встретили его с большим неудовольствием, но игуменья по слабости литургию ему служить разрешила, а сама, отговорившись болезнью, в храм не пошла. Однако щевельщинский благочинный, человек старый, прямой — спину не гнет ни перед кем — служить с ним не стал и храм покинул демонстративным образом. И весь народ тогда вышел за ним и все монахини, и Павсихий служил в пустом храме, а когда вышел из храма, то многие женщины принялись кидать в него молодой картошкой и даже сшибли с него клубок.

Вера радостно сверкала глазами, Пелагея Ивановна улыбалась довольно, Екатерина Сергеевна умиленно захватила губою губу — и все молчали. А в саду все совершалось и совершалось таинство ночи.

— Ну, Пелагея Ивановна, пойдем^о домой, — сказал священник. — Завтра большой храм.

— Владыко у вас служить будет?

— А як же. Дал свое согласие по примеру прошлых лет. Мое почтенье.

Степан Андреевич простился, но поцеловать руку Пелагее Ивановне не решился. Вообще он чувствовал себя так, словно учинил некое безобразие, о котором все по вежливости умалчивают.

Вера пошла проводить до ворот, а Екатерина Сергеевна сказала тихо:

— Отец Владимир хоть и молодой человек, а не уступит иному старому: он после двенадцати евангелий до самой светлой заутрени ничего не вкушает... Постом Великим на него смотреть страшно... Говорят, на страстной седмице вериги носит...

Она смяла фокстротный рисунок и принялась им стирать со стола крошки.

Степан Андреевич машинально полез в карман за папиросами, но, нащупав чулки, отдернул руку. Тут он вспомнил:

— Что же хлопец-то мне папиросы не принес?— сказал он.

— Какой хлопец?

— Тут я дал одному мальчишке на дворе... который абрикосы собирал.

Екатерина Сергеевна молитвенно сложила руки.

— Да ведь это ж сам Ромашко Дьячко,— воскликнула она, — ну, я же тебя предупреждала... Украл он. Украл твой полтинник.

— Что такое?— спросила Вера, поднимаясь на террасу.

— Вообрази, Степа дал полтинник Ромашке Дьячко.

— Я послал его за папиросами.

— Ну, что же, Степа, одним полтинником будет у вас меньше.

— Нет, Степа, ты не беспокойся. Я это завтра же выясню...

— Да я не беспокоюсь; я думаю, что он еще принесет папиросы...

— Он?

Вера тихо рассмеялась.

— Ваша доверчивость, Степа, достойна похвалы, а полтинника вы все-таки не увидите.

— Ну, как-нибудь обойдусь.

— Вы, мама, должно быть не предупредили Степу?

— Предупредила, Верочка, предупредила.

— Я спать пойду, — сказал Степан Андреевич, ибо надо было как-нибудь кончить беседу. — Покойной ночи.

— Покойной ночи... Не плачьте о полтиннике, а в другой раз будьте осторожнее... и еще Марье не верьте... Марье у нас только мама верит.

— Верочка! И не грех тебе? Ну, когда же я Марье верю?

Неподвижен был сад, весь серебряный, с черными тенями, а луна, яркая, как солнце, разогнала на самый край неба бледные звезды и, казалось, обижена была, что ей предпочитают полтинник.

Степан Андреевич после фокс-трота испытывал жуть, знакомую музыканту, который соврал в самом важном месте на многолюдном концерте, или

писателю, который в уже напечатанной книге обнаружил непоправимую нелепицу: герой, все время называвшийся жгучим брюнетом, под конец дарит возлюбленной свой золотистый локон. И ведь бывают, и ведь бывают такие случаи.

Не найдя свечи, он разделся в темноте и лег спать с открытым окном. Лежа, он задумался, но мысли, его обуревавшие, не были привычными московскими мыслями. Он был в каком-то странном недоумении и никак не мог соотнести себя со всеми этими людьми. Конечно, думал он, это должно случиться со всяким, кто попадает в совершенно новую обстановку. Что бы было с ним, если бы он вдруг попал, скажем, в Париж? Париж и Баклажаны. Гм... И, однако, было какое-то легкое и очень глухое раздражение, такое смутное и неопределенное, что Степан Андреевич отнес его к: не совсем удобной кровати. Он поэтому даже встал и перебил сеник, заменявший матрац. Какого чорта притащился этот поп! Впрочем, Степан Андреевич тут же сам на себя нахмурился за эту мысль. Это человек идейный и достойный уважения. Таких надо ценить и беречь. Да-с. Да-с.

— Ты еще не спишь, Степа? — проговорил тетушкин голос в окно. — А я нашла способ, как твой полтинник у Ромашки выудить. И Вера мой способ одобрила. Ну, спи. Христос с тобой. Но какой же это мошенник!

Она ушла, и теперь была за окном только та самая украинская ночь. Самая первая и самая непримиримая самостийница.

IV.

ДЬЯВОЛЬСКИЕ ШТУКИ.

— Ту-ту-ту-ту-ту-ту...

Словно швейная машина быстро работала за стеною.

Кто-то шил на машинке и при этом хныкал и ревел во весь голос:

— Ту-ту-ту-ту-ы-ы-ы-хнык, хнык, хнык...

Степан Андреевич открыл глаза.

Янтарем ясного солнца залита была вся комната. Ослепительно зеленел за окном сад. Даже дохлая крыса на картине, казалось, улыбалась из-под своего кирпича.

— Ту-ту-ту... ы-ы-ы...

Это вовсе не швейная машина стучала, это бормотали что-то приглушенные стеною голоса, а среди них кто-то, действительно, хныкал и ревел иногда тихо, иногда во весь голос.

Лицо тетюшки в кружевной наколке заглянуло в окно и скрылось.

— Когда оденешься, зайди в кухню, — произнес из-за окна голос.

Степан Андреевич умылся с наслаждением холодной водою и надел, кроме трех предметов,

которые составляли его туалет, на этот раз и пикейный пиджак. Затем тщательно причесался перед зеркалом. На столике он нашел коробку папирос и несколько медяков. Медяки он оставил на столе, а папиросы сунул в карман. „Ну, вот, а тетушка волновалась“, — подумал он.

Затем он пошел в кухню.

Кухня в доме Кошелевых была столь же необыкновенна, как и все в этой стране солнечных и лунных фантазий. Белая и чистая, как снег, она сияла крашенным полом и хорошенькою кафельною плитою. Стены были сплошь увешаны глянцевитыми женскими головками, вырезанными из немецких журналов. Красавица кормила голубя зернышками изо рта, другая прикладывала пальчик к губам, сделав из ротика малюсенький бутончик, третья играла на арфе, а амурчик сидел у нее на плече и давал ей нюхать розу.

Перед кухнею на дворе — на зеленом, поросшем травою дворе — стояло целое общество.

Тут была тетушка Екатерина Сергеевна в белом праздничном чесучевом платье и с кружевом на голове. Тут была Марья, грязная, как чорт, но как будто менее грязная, чем вчера: очевидно, она по случаю праздника не окунулась в помойку. Еще стоял какой-то дядько с седыми усами, как у Тараса Бульбы, в пиджаке и блестящих сапогах, какая-то женщина, слегка кривобокая, но довольно

красивая, одетая по-праздничному в красную юбку, голубую кофту и белую косынку, словно царский флаг, решивший на зло всем прогуляться по советскому государству. А еще стоял Ромашко Дьячко, тоже одетый по-праздничному, но не по-праздничному хныкавший и причитавший. Седой дядько от времени до времени дергал его за ухо, и тогда Ромашко принимался реветь во весь голос и вырывался, однако, осторожно, чтобы не измять своего праздничного наряда.

Увидав Степана Андреевича, и Тарас Бульба и трехцветная женщина поклонились ему почтительно, а Екатерина Сергеевна сказала торжественно:

— Послушай, Степа, что только говорит этот мошенник. Будто он к тебе в комнату вчера отнес папиросы и сдачу.

— Верно, — сказал Степан Андреевич и показал папиросы.

Всё недоуменно переглянулись между собою, словно увидели фокус, и все лица изобразили немое разочарование. Только Марья выразила удовольствие:

— Я ж говорила, що понапрасну хлопца трусили...

— Ну, все равно, Степа, ты ж ему не доверяй... А ты сдачу-то пересчитал ли?

— Пересчитал.

— Так-таки ничего не украл?.. И в комнате все цело? Полотенце цело ли?

— Все на месте...

— Ну, ступай, Ромашко,— сказала тетушка со вздохом, — но смотри, в другой раз не кради... Бог все видит, вон он на нас смотрит.

Екатерина Сергеевна указала пальцем на небо. Все поглядели. Чистое, голубое было небо, только одно облачко белело высоко, высоко. Может быть, и в самом деле была то седая борода Саваофа, внимательно наблюдающего за земными жуликами.

Чинно поклонившись, удалилось семейство Дьячко, а из дому, между тем, в белом кисейном платье вышла Вера.

В церкви уже звонили, и звон был очень странный. Казалось, что молотком бьет по сковороде нервный человек.

* * *

Храм Казанской божьей матери в Баклажанах был синеглавый, голубой деревянный храм, чистенький и уютный и легкий, как елочный картонаж. Стоял он очень красиво среди огородов и баштанов, и перед ним была большая зеленая лужайка.

На этой лужайке теперь толпился народ, словно на ярмарке. Разряженные сивые волы мерно пережевывали свою жвачку и вид имели при этом очень важный, словно профессора, читающие в

сотый раз одну и ту же лекцию. Возле арб сидели и возились загорелые ребяташки. Там и сям горел, как крыло жар-птицы, оранжевый рукав иной черноокой жинки. Но где вы, куда вы исчезли, знаменитые хохлы в вышитых свитках и в синих, с Черное море шириною, шароварах? Спокойно и важно расхаживали между дивчатами парубки в защитных френчах и в галифе с флюсом, а на кудрявых их головах не красовались уже серые смушки, а велосипедные картузики, заломленные назад по системе парижских апашей.

Перед храмом стояли длинные столы, в стороне на кострах, в огромных котлах бабы варили что-то и мешали ложками. Горой лежали хлеба и пироги, румяные и поджаристые.

— Это будут после обедни угощать духовенство и нищих, — сказала Екатерина Сергеевна, — впрочем, всякий может поесть, кто проголодается. Ведь сюда за много верст съезжались и с хуторов и из поселков. Вон Роман Дымба приехал, а ему уже сто двадцать лет. Помнит он бунт декабристов, он тогда в Петербурге служил солдатом, только все он путает, говорит, что у Николая Первого была длинная рыжая борода, и сам был он будто маленький и толетый.

Роман Дымба, слепой и седой, как сыч, сидел согнувшись в тени двух огромных волов и что-то строгал ржавым ножом.

— Это он праправнуку дудку точит... А вон и Петр Павлович.

Бороновский был в белой полотняной куртке, заштопанной местами, но чистой, и в руках держал соломенную шляпу.

— Часы кончаются, — сказал он тихо, благоговейно глядя на Веру, — сейчас начнется.

Степан Андреевич давно не был в церкви у обедни. Бывал только с барышнями на пасхальной заутрене, но и тогда вместо молитв предавался он романтическим мечтаниям о невозвратимом детстве и о том, как, бывало, в старину разговлялись. Ему вдруг чрезвычайно захотелось проникнуться общею торжественностью. Он вошел в церковь почтительно и постарался оробеть, как робел, бывало, в детстве. Впрочем, робости настоящей не вышло, только шея-скривилась.

Стали все Кошелевы на почетном месте справа, на когда-то очень пестром коврикe. В голубом тумане, прорезанном косыми лучистыми колоннами, обозначались изображения святых. Палач взмахивал мечом над головою склонившегося Крестителя.

Однако благоговенья все как-то не получалось, и когда дьякон, выйдя из алтаря, поднял орарь и возгласил: „Благослови, владыко“, Степан Андреевич вспомнил, что забыл дома мелочь.

„Наверное, пойдут с тарелкой, — подумал он, — скандал какой“.

Огляделся и замер.

Блондинка стояла впереди, немного наискосок. Она была в белом платье, сшитом не совсем по-модному, но не слишком длинном. На ней были белые чулки и белые туфельки на высоких каблучках, которые имели, впрочем, тут, в храме, весьма смиренный вид, так что было даже удивительно — простой каблук, а понимает. Блондинка крестилась, склоняя лебединую шейку. Степан Андреевич возвел очи и попытался помолиться. Ему при этом вспомнилась его старая няня, имевшая обыкновение молиться так: „Господи, помилуй, денег дай“. Потом пришел в голову глупый каламбур, что молиться истово можно, молясь в то же время неистово. Он встряхнул головою и оглянулся на происходивший в середине храма торжественный обряд. Четыре священника облачали владыку, а он стоял, высокий и величественный — Шаляпин в роли Годунова.

Екатерина Сергеевна молилась истово. Качая головою скорбно и умиленно, она сначала долго придавливала ко лбу щепотку, а затем переносила ее медленно к животу и плечам, шепча что-то убедительно беззубым ртом. Видно было, что все эти нарисованные на стене святые — ее близкие друзья и вполне реальные знакомцы, и что она отлично знает, к кому, зачем и как обратиться.

Вера стояла почти все время на коленях, и лицо ее было какое-то просветленное, какого ни разу еще не видал у нее Степан Андреевич.

Бороновский держался в стороне. Он совсем не крестился, но был напряженно задумчив и иногда, прищурившись, словно выискивал что-то в туманном куполе.

Дядьки и жинки молились с чувством и деловито. Еще были в храме какие-то дамы, одетые по моде семидесятых годов, имевшие весьма жалкий вид. Они все тихонько здоровались с Екатериной Сергеевной.

Владыко служил, словно некий опытный и хорошо знающий свое дело чародей. Видно было, что он свой человек среди этих золотых риз и огромных свечей. Он не то, чтобы очень торопился, но и не очень медлил, казалось, служение богу стало для него своего рода мастерством, которым он и занимался с уверенностью и спокойствием профессионала.

— Мир всем.

— И духови твоему.

— Помело, помело, помело, — набрав воздуха, затараторил хромоу псаломщик.

Отец Владимир вышел из алтаря, бледный и строгий, и на него даже слегка покосился владыко.

Степан Андреевич, увидав, что тетушка комочком рухнула в земной поклон, балансируя, и сам стал на одно колено.

Величественным куполом, возвышалась перед ним склонившаяся Вера, а там, немного наискось, и блондинка до полу склонила золотые локоны.

Степан Андреевич отвернулся и постарался вспомнить что-нибудь очень трогательное — и, как нарочно, лезла в голову, действительно, трогательная история, как он, обняв блондинку, плывет по реке и потом несет ее на руках на горячий песок.

Тогда Степан Андреевич начал молиться.

— Господи! Если ты существуешь, — говорил он, — яви чудо, какое-нибудь самое простое доказательство своего бытия, ну, пускай, например, вдруг угаснет вон та лампадка, никто на это не обратит внимания, припишут сквозняку, а я буду знать, что ты существуешь... и тогда...

Тут он осекся... Что тогда? Тогда, очевидно, придется в корне переменить всю жизнь, потому что ведь если наверное знать, что бог существует, то ведь нельзя не думать о нем неустанно, нельзя же не стать святым. Но тогда, значит, навсегда отказаться от этой, например, блондинки, от всех блондинок, от всех брюнеток, от всех шатенок, отказаться от вина, от вкусной еды, от издательских гонораров (но это уж дурацкая мысль). Степан Андреевич с некоторым страхом поглядел на лампадку. Горит. „Стало быть, — подумал он тут же, — мне приятнее думать, что бога нет... А вдруг есть? Тогда скандал“.

Философские размышления эти были прерваны неожиданно и конфузно.

Хромой псаломщик вышел из алтаря, неся на тарелочке две просфоры. Он направился к тому месту, где стояли Кошелевы, ногами как бы выбивая „рубль двадцать“ (известно, что нехромые люди походкою как бы говорят: „рубль“, „рубль“, а хромые: „рубль двадцать, рубль двадцать“). Одну просфору поднес он Екатерине Сергеевне, которую та и приняла, перекрестившись и положив на тарелочку двугривенный. Другую просфору он поднес Степану Андреевичу. Тот принял ее, смущенно пробормотав: „Спасибо, кошелек дома забыл“, и постарался принять самый независимый и молитвенный вид. „Оскандалился московский гость,— подумал он,— ну, в другой раз дам полтинник, только, пожалуй, в другой раз не дадут просвирки“.

Повалили к кресту. Толпа сама притиснула Степана Андреевича к белой попадье, и он шепнул: „Мне нужно нечто передать вам“. Она быстро оглянулась строго и недовольно.

В это время в толпе послышался глухой стон. Степан Андреевич увидал среди голов белое лицо Бороновского, ставшее вдруг лицом трупа. Он нырнул куда-то вниз. Произошло движение, Бороновского выносили. „Дурно стало, — сказал какой-то дядько, — больной человек“.

Вера сурово оглянулась назад и покачала головой. Степан Андреевич больно ударился носом о холодный золотой крест и сошел с амвона.

Народ не расходился из храма: отец Владимир готовился говорить проповедь. Степан Андреевич из приличия тоже остался, хотя не мог понять ничего, ибо отец Владимир говорил по-украински и очень быстро. Но Степана Андреевича заинтересовало не что он говорил, а как он говорил. Это не была умиленная проповедь, слегка в нос, слушающая которую, старушки с первых же слов начинают плакать навзрыд. Это была резкая, с напором, митинговая речь, уверенная и строгая, где о боге говорилось так, словно это какое-то совершенно реальное лицо, замешкавшееся в алтаре, но которое каждую минуту может выйти и распорядиться с каждым тут же на месте по делам его. Дядьки слушали, разинув рты и выпучив глаза, а жинки в страхе и трепете крестились, прижимая к себе младенцев. Заканчивая проповедь, священник строго погрозил пальцем всей пастве, и вся паства потупилась.

Потом, как бы смилостивившись, он благословил всех и пошел в алтарь.

Все двинулись к выходу.

Степан Андреевич посмотрел на Пелагею Ивановну. Лицо ее было умиленно строго, и шла она потупившись, с видом наисмирнейшей христианки.

На лужайке перед храмом он, улучив момент, подошел к ней:

— Я должен передать вам ваши чулочки.

Ее лицо так все и подпрыгнуло от радости!

— Вы их нашли? Господи! А я-то думала, что их дивчата украли.

— Но они у меня дома, — сказал Степан Андреевич, слегка раздражаясь на проявленную радость (он-то ожидал смущения). — Я вам при случае отдам.

К ним подошла Вера.

— Вы поняли проповедь, Степа? — спросила она.

— Признаться, нет.

— Отец Владимир говорил об обновленческой церкви... Он говорил, что лучше в язычество перейти или иудейство, чем христианам отойти от истинного православия... И заметьте, как все его слушали.

— А вы тоже не любите обновленцев? — спросил Степан Андреевич у Педагеи Ивановны.

— Разве можно их любить? Довольно странно было бы.

Духовенство между тем двигалось *in corpore* к столам, уже уставленным яствами. Отец Владимир издалека поманил свою супругу.

Бороновский сидел в стороне на каком-то камне, опустив голову на руки. Он словно никого не видал.

— Он очень болен, — заметил Степан Андреевич, глядя, как усаживалась Педагея Ивановна

среди белых и черных бород и чесучевых ряс.

— Да, — вздохнула Екатерина Сергеевна, — и ведь был совсем здоровый человек. Это у него после пытки.

Екатерина Сергеевна вдруг, сказав так, покраснела до слез, и он заметил, как сверкнули при этом глаза у Веры.

Степану Андреевичу при слове „пытка“ представился темный готический зал, где за красным столом сидят судьи в черных мантиях. Бороновский, до пояса обнаженный, стоит перед ними, а палач в стороне раздувает жаровню.

Разговор оборвался, словно ничего особенного не было сказано, и все молча пошли домой.

По лазурному небу мирно и спокойно плыли аисты и, сверкая на солнце бело-черными перьями, должно быть, вспоминал, как припекало его это самое солнце, когда в Африке пролетал он с приятелями над синими водами Танганьики.

А пыльные ребятишки кричали ему вслед:

— Лелека, лелека! Где твой батько? Далеко!

V.

М И С Т И К А.

Следующая неделя прошла все в том же блаженном, солнцем напшигованном бездельи. Степан Андреевич рылся в старой кошелевской библиотеке

и среди пыли десятилетий находил неожиданные сокровища: романы графа Салиаса, самые что ни на есть исторические романы про „донских гишпанцев“, про „московскую чуму“, про „орлов екатерининских“. Сочинения графа Салиаса, издание Поповича — вот уж, действительно, все несозвучно. Взять и прочесть. Романы знаменитого Дюма — милые и дорогие с отроческих лет.

А вот еще чудо: журнал „Искра“, приложение к „Русскому Слову“, переплетенный по годам. Десять огромных книг, и в них все недавнее прошлое Российской империи.

Степан Андреевич поволок эти жуткие „Искры“ в густой кустарник, разросшийся в нижней части сада. Там было уютно и спокойно лежать и не так знойно даже в самый полдень, ибо издалека кидала тень огромная шелковица. Раскрыв первую „Искру“, Степан Андреевич умилился. Генерал-адъютант Алексеев — новый наш наместник на Дальнем Востоке. Сколько звезд и сколько лент, и как может грудь человеческая не лопнуть от чувства „лестности“, ибо и со стороны лестно было смотреть на генерала. А потом уже сплошь все генералы и архиереи, и вид озера Байкал, и четырехтрубный крейсер „Варяг“, наклоненный на один бок, и адмирал Макаров с прекрасными бакенбардами, и художник Верещагин в шубе и бобровой шапке...

Да. Степан Андреевич на секунду откинулся на спину. Печальные страницы. Он тогда был еще маленьким гимназистиком и собирал в классе полтинники на усиление флота. Приготовишки пищали „боже, царя“, а либерального вида надзиратель из юристов делал гримасу, словно принимал касторку, и „пресил“, именно „просил“ „не шуметь“. Оживился надзиратель, когда через год те же приготовишки, но перешедшие уже в первый класс, загнусили марсельезу, французскую песенку на русский лад.

Вот и второй том: полковник — чорт побери! — Мищенко — лихой полковник, с усами, и сухопутный адмирал Дубасов, отдубасивший основательно первую московскую революцию. Сожжение баррикады на Новинском бульваре, жертва освободительного движения — кухарка, убитая случайно на Большой Пресне. Степан Андреевич жил тогда в Кудрине и помнил, как к его отцу приходил в гости знаменитый Маклаков и говорил с негодованием о бестактности правительства: его свергают, а оно не хочет.

Вдали ухали пушки. Опасались каких-то золоторотцев и еще союзников (тогда союзники были не то, что потом), союзниками были черносотенцы и громили жидов и студентов. Могли разгромить и адвоката, — отец Степана Андреевича был адвокат, — хотя в семье очень все надеялись

на фамилию: Кошелев — русская фамилия. Кроме того, знакомый драпировщик, осенью вешавший, а весной снимавший шторы, был союзник и обещал не трогать: „Мы, — говорит, — понимаем, что вы хоть и адвокат, а православный, а бьем мы только жидов, потому что это уж так от бога. Еще будем Плеваку бить, но уж это он знает, за что“.

Плевако в газете тогда написал, будто один батюшка во время литургии деньги собирал на покупку себе коровы.

Потом несколько томов так называемого мирного времени; это вот когда все было, как в мирное время. И странное дело, и в мирное время через каждые пять страниц на шестой обязательно трупы: трупы казаков, замученных на персидской границе, трупы зверски убитых албанцев, трупы армян, зарезанных турками в окрестностях Эривани, и генералы, только уже не на первой странице.

На первой странице перомонах Илиодор, Шалапин, лепящий свой бюст, и Качалов в виде Анатэмы. Гимназистка, бросившаяся с Ивана Великого на почве непонимания цели жизни. Провалившийся в государственной думе потолок. Уцелевшее место деп. Пуришкевича. Французские гости в Москве: банкет. Английские гости в Москве: банкет. Итальянские гости в Москве: банкет. А затем: эрцгерцог Франц-Фердинанд, убитый в Сараеве Принципом.

Дальше Степан Андреевич не стал смотреть. Дальше уж ничего хорошего. Он повернулся на спину и устремил взор в ясное небо. Жалко Россию... И опять начал раздражаться, ибо вот и жалко, а не особенно. А по-настоящему должен он был сейчас пасть ниц и реветь, как еврей на реках вавилонских, и бить себя в сосцы и поститься сорок дней и сорок ночей.

Не успев в чувстве или т.-е. в эмоции, обратился он к своему логическому разуму. Если верить сочинениям Карамзина, — думал он, — любовь к отечеству бывает физическая, нравственная и политическая.

Физическая любовь — это когда лапландец любит ледяную плешь, на которой живет, и хлещет рыбий жир с таким же удовольствием, как русский — казенное очищенное вино.

Нравственная любовь — это любовь к согражданам, т.-е. это то, что, по словам Карамзина, заставляет двух русских, встретившихся на берегу Фирвальдштедтского озера, кидаться друг другу в объятия и лить на взаимные жилеты слезы умиления. Между прочим, очевидно, во времена Карамзина было по другому, чем после. Степан Андреевич помнил, как, бывало, за границею содрогался его отец, слышав русскую речь, и как быстро шептал он сыну: „Русские идут, *parle français*“.

Наконец, политическая любовь — это гордое сознание могущества своего отечества и его географических размеров.

Теперь, если разобраться, то разве только физическая любовь и осталась. Любовь к согражданам теперь дело еще более сомнительное, чем прежде, ибо каких-таких сограждан любить? Мужичков любить как-то уж странно, да и не нуждаются они больше в любви образованного класса; представителей так называемой интеллигенции или буржуазии, можно, конечно, любить, но все так заняты, что уж никому не до любви.

Третий сорт любви, т.-е. гордое сознание могущества своего отечества, конечно, может быть и теперь, ибо как не гордиться страной, которая, разоренная и расхищенная, однако, преспокойно берет под свое покровительство огромный Китай со всякими там Кантонами и Сингапурами. Но тогда нужно уж стоять на платформе.

Одним словом, из-под русского патриота выдернули Россию, как выдергивают теплый платок из-под разоспавшегося кота. Кот недоуменно озирается. Был, дескать, платок, и удобно на нем было лежать, а теперь нет его. И, подумав, кот ложится на то же место, но без платка и через миг уже мурлычет с удовольствием. Дескать, ничего, думал, что хуже будет.

В это время на грудь Степану Андреевичу шлепнулся листик, он смахнул его и продолжал размышлять. Но не удивительно ли, что еще одиннадцать лет тому назад, двадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, все ходили по Москве, грозя кулаком Феррейну и Густаву Листу, а молодые люди покупали солдатские фуражки, объясняя приказчикам, что сегодня они еще погуляют, а завтра пойдут записываться в добровольцы. И ведь не фантазия же Кузьма Крючков! Хороша фантазия — одиннадцать немцев одним взмахом пашки!

Очевидно, было, было что-то, что вдруг утратилось, и почему утратилось — никто не знает. Психология масс. И опять-таки не столько психология, сколько физиология — трудность добывания продуктов и боязнь потерять жизнь. А на что же тогда существует героизм? Какую-нибудь Жанну д'Арк или Ивана Сусанина не сманили бы пудом пшена или дополнительной карточкой широкого потребления.

Степан Андреевич несколько повернулся на бок... и удивленно уставился в траву. То, что он принял за листик, было на самом деле бумажкою, сложенною на манер аспириновых порошков. Он быстро развернул ее и прочел карандашом нацарапанные слова: „Сегодня в десять часов приходите в захарченскую клуню. Вас будут ждать“.

Он вскочил в одно мгновение. Никого, конечно, уже кругом не было.

— Ключула - таки! — крикнул он недрилично громко. И тут же пришло ему в голову, что, может быть, не им, а чулками, главным образом, интересуется написавшая эти строки.

* * *

Между прочим в состоянии погоды произошло резкое изменение. В воздухе стало томительно и душно, небо заволакивалось тучами, а Екатерина Сергеевна вздыхала, глядя на барометр.

— Давеча упал на мизинец, — говорила она, — а теперь еще на указательный палец. Самая уборка сейчас, и непременно смочит. А недавно сохло все, молились о дожде — не послал.

— Что такое захарченская клуня? — спросил Степан Андреевич за вечерним чаем у Веры.

И Вера вдруг насторожилась, словно даже уши у нее как-то острее стали. Екатерина Сергеевна задрыгала чашкой и скривила рот, но замерла тотчас же.

— А почему вы интересуетесь захарченской клуней? — не подымая глаз от шитья, спросила Вера.

— Кто-то тут говорил...

— Это такой сарай разрушенный на берегу реки. Захарченко был раньше богатый мельник,

но потом сошел с ума, когда дочь его стала бог знает чем. Она была довольно интересна и хорошо кончила гимназию. А потом во время гражданской войны влюбилась в одного бандитского атамана Степана Купалова. Этот Купалов был такой подлец, но красивый, разбойник. Он и взял себе в жены захарченскую дочку и бил ее, если она ему не доставала водки. Она приходила к нашим соседям и на последнюю юбку выменивала у них самогону. Просто юбку снимала, а бутылку брала. Потом он ее совсем прогнал и спутался с другой женщиной, а когда она все-таки пришла к нему, он привязал ее к хвосту лошади за косу и так таскал по всем Баклажанам... Лошадь гнал в карьер, а на углах останавливался и читал по бумаге, в чем она провинилась. Пьяный был. Ногу ей сломал, челюсть и почти все зубы... Тогда же Захарченко рехнулся и в этой самой клуне повесился... Говорят, ночью иногда там ходит.

— А дочь его жива осталась?

— Да вот нищая сюда приходила — Лукерья. Это ж она и есть. И теперь такая же мерзавка, хоть совсем идиотка.

Вдали проворчал гром. Словно сердился, что люди ругаются в такую тревожную для природы минуту.

— Ну, а бандит этот? Куда он делся?

Вера вдруг уколола до крови себе палец. Она встала и ушла в свою комнату.

Екатерина Сергеевна вздохнула глубоко, потом подошла и еще раз стукнула по барометру.

— Ну, смотри, пожалуйста. Еще на полногтя. Она даже перекрестилась.

— Будет гроза. Лишь бы не град. Спаси бог.

К десяти часам наступила непроглядная тьма, и Степан Андреевич, ощупью добравшись до дыры в заборе, вылез на дорогу к реке.

Молнии пробегали вдали, и гром уже подрыгивал, но было еще очень тихо и дождем не пахло. Только темно было, как в берлоге, и один раз с размаху налетел Степан Андреевич на дерево.

„Глупее всего будет, если она не придет, — думал он, пробираясь по берегу, — наверное, не придет. Вернусь обратно“.

И, однако, тут же вспомнилось ему замечательное тело, лежавшее перед ним на траве, облизнувшись, почувствовал он на губах пряный вкус попадьи и — уж так был создан — что пошел, спотыкаясь во мраке, к захарченской клуне. При отблеске далекой молнии увидел он и самую клуню, черный полуразрушенный сарай. „Глупо, — подумал он, — ее наверное нет“, — и все-таки подошел к сараю и принялся ощупывать стену, ища входа. Из мрака маленькая рука схватила его и повлекла внутрь сарая.

— Ну, вы, однако, храбрая женщина, — проговорил он тихо. Страх его от присутствия другого

живого существа, — да еще какого существа, — мгновенно рассеялся. — Но позвольте начать с возвращения вам вашей частной собственности. Вот ваши чулочки.

Он протянул их в темноте и в то же время получил теми же чулками несколько хлестких ударов по щеке, а потом слышно было, как слегка плеснула вода от чего-то, упавшего в нее.

Тень отпрыгнула от него и притаилась во мраке, только два глаза на миг сверкнули, как у кошки.

Внезапно лиловый, фантастический день на секунду блеснул в ночи — то молния с грохотом перепрыгнула с тучи на тучу.

На одном колене, и как-то по-балетному простирая вперед руки, явилась на секунду та самая тень.

Степан Андреевич вздрогнул и вдавился в черную стену клуни.

„Не она“, — подумал он и вдруг защелкал зубами.

Нелепейшая мысль так и врезалась клином между обоими мозговыми полушариями. А тень медленно подвигалась к нему, протянув вперед руки.

Там где-то сейчас бегут себе к заставам красноглазые трамвайчики, там человек в круглых очках и с синим карандашом, там на календаре с Ильичем тысяча девятсот двадцать пятый год. А в этой мгле разве разберешь, какой теперь век, и человек ли, оборотень ли крадется из мглы с простертыми руками?..

Изю всех сил вдавился в стену Степан Андреевич и... перекрестился. С глухим стоном впилась ведьма зубами себе в руку и, сорвавшись с места, в одии миг растаяла, растворилась во мраке, и гром с неистовой силой грянул оземь, и тысячи молний заметались по небу. Дождь, вихрь, вой, и при свете молний вся природа наклонилась на один бок под хлеставшим ее ураганом.

Скользя в грязи, не бежал, а летел домой Степан Андреевич, падая, вставая, опять падая, в безумном ужасе закрывая голову, чтоб не пробили ее хлесткие градинки. Он влетел на кухонное крыльцо и чуть не сшиб с ног Марью, преспокойно курившую злейшую махорку.

— Пан? — сказала та удивленным басом. — Дюже мокрый. А вы уж не говорите господам, що я курила. Ну их к бісу.

Сказав так, она отшвырнула окурок и с двумя ведрами храбро пошла под дождь набирать воды из-под жолоба.

Степан Андреевич прошел в свою комнату, зажег свечу и с радостью увидал, что все ставни заперты.

Сняв платье и накинув мохнатый халат, он, однако, все еще был как-то плохо уверен в себе, одним словом, был в том состоянии, когда к человеку стоит подойти тихонько сзади и щелкнуть слегка по затылку, чтоб с человеком сделался жесточайший родимчик.

„Что за идиотство,—думал он, — что за идиотство. Подлые нервы“.

И вдруг — о, человек в круглых очках и с синим карандашом, видел ли ты это? А если видел, неужели не подпрыгнул от удовольствия на своем обсиженном стуле?

Степан Андреевич подошел к чемодану и вынул одну из тех самых на всякий случай захваченных рукописей. Он внимательно прочел две страницы, а потом сел, взял альбом и, оглядываясь на дверь, стал рисовать.

И при этом воображал он себе знакомые улицы, трамвайную суету у Второго дома советов, рекламы американской паровой компании, деловой спор с подозрительно настроенным редактором и червонцы, милые, белые червонцы на маленьком окошечке стеклянной кассы. И когда вообразил он себе все это отчетливо и ясно, то стало постепенно замедлять размахи расходившееся сердце. Пгонеришка на рисунке смотрел храбро и успокоительно поднимал красное знамя.

* * *

Странная ночь выдалась в этот раз в Ба-
клажанах. Много удивительного видела мол-
ния, заглядывая в щели старых баклажанских
ставней.

Два старых еврея сидели в комнате, увешанной библейскими картинками, совсем сблизив лбы и отставив на край стола огарок, чтоб не опалить себе бороды. Один из них все время опасно поглядывал на перегородку, но другой успокоительно махал рукой, словно говорил: „никого нет там“. Но он ошибался. За перегородкой, прижавшись к ней ухом, стояла только что вернувшаяся с прогулки, вся мокрая и грязная, бессонная его дочь. Она влезла в окно и теперь слушала, и черные брови ее совсем сдвинулись. Шелест червонцев долетел до нее, и она зажала уши и бросилась на кровать, кусая подушку, чтоб не слышно было рыданий. Какой же такой товар продал старый потомок Израиля, что так слезообильно заплакала его дочка?

Еще видела молния молодую блондинку, мечтавшую в бессоннице. Но о чем она мечтала, молнии, конечно, известно не было.

Перед лампадою молилась в своей опочивальне шекспировская королева. Иногда подходила она к двери и говорила с раздражением: „Да не храпите же, мама, я молиться не могу“. И тогда маленькая старушка садилась на постели и, вздохнув, пальцами поддерживала слипающиеся веки.

И еще видела молния такое же бледное, как и у нее, лицо, с тоскою из окна озиравшее небо. Словно странник собирался в дорогу. Полумертвое лицо. На такие лица лучше не смотреть в темные ночи.

VI.

ЛЬВОВИЧ.

Степан Андреевич заснул только тогда, когда обрисовались розовыми полосками щели ставней. Поэтому и проснулся он довольно поздно.

День был снова чудесный, настоящий летний, ненастье не зарядило по-северному на две недели.

При свете этого дня ужасно смешны и постыдно-глупы были ночные страхи. Оставалось, правда непонятным все. Но в конце концов некоторая таинственность даже приятна на нашем реалистическом, так сказать, фоне. Степан Андреевич посмотрел на пионера, который был наполовину готов, и швырнул его в чемодан за ненадобностью. Потом он пошел пить кофе.

На террасе стояла Екатерина Сергеевна и сомнительно поглядывала то в сад, то на свои веревочные туфли.

— Мокро, — говорила она, — мокро и грязно. Господи, помилуй.

— Да, мокро, — согласился Степан Андреевич, жуя словно из ваты испеченный хлеб. Хлеб этот мялся и не разгрызался и назывался тут калачем. Какая насмешка над Великороссией!

— Да ведь дождь-то какой вчера был. Заступница! Ну, как я пройду?

— А вы куда собрались?

— Жидовке одной платью отнести. Вера сама не ходит к заказчицам, ей самолюбие, конечно, не позволяет... Но она это платью просрочила... Меня посылает...

— Так давайте я отнесу. У меня галоши.

— Степа, да ты не найдешь.

— Ну, вот еще... Вы объясните, как пройти...

— Спаси тебя Христос... Ты Ларек знаешь?..

— Знаю.

— Ну, вот — от Ларька направо и будет Полтавская улица. Пятый дом направо, с голубым крыльцом, спроси Зою Борисовну Львович. Она жидовка. Скажи, что от Веры, мол, Александровны Кошелевой. Сегодня суббота, она будет дома.

— Есть.

Ведь вот и маленький город (город — полюбуйся, урбанист!), — а делится на три части резко и несомненно.

Первая, главная, торговая, единственная мощная улица, освещаемая даже электричеством, мощная огромным с добрый кавун булыжником — Степная по названию, вечером даже с уклоном в падение нравов — ибо — это факт — существует кокотка Баклажанская — хохлушка могучая, одетая по-московски — и еще еврейка волоокая с пристальным иснодлобья взглядом — обе очень и очень. На этой улице Санитария и Гигиена, Державная

Аптека и всякая москательщина и бакалейщина — плакаты: „жінки, тікайте до спілки“.

Вторая часть — как бы переходная часть — реально, даже материально осуществленная смычка города с деревней. Появись в Баклажанах двуликий Янус — был бы он в этой части одним лицом к городу, другим — к деревне. Домики грязно-белые, но все же улицы ни на что другое, кроме улиц, не похожи. Тротуар горбом из бурого кирпича, кое-где от старости выпали кирпичи — тротуар обеззубел, — но пройти и в грязь физически возможно. Белые акации придают этим улицам нарядную живописность. В этой части жил Львович и должно быть все его родные — детишками кишели улицы.

Третья часть, самая аристократическая и самая демократическая — усадьбы и хутора — Кошелевы жили там все сорок лет — фруктовые сады, пустыри с навозом и огороды. Грядки с залихватскими усиками — грядущими тыквами. Подсолнухи желтеют ослепительно, — а кое-где кровью разбрызгались маки. Овцы, вылепленные из грязи, пасутся у заборов. В этой части после дождя хлюпхлюпанье и чертыханье — галоши и обувь лучше прямо оставить дома.

Но кое-как все-таки перебрался Степан Андреевич из третьей части во вторую — солнце уж больно сушило — грязь твердела, как воск на потушенной

свече — и благополучно дошел до Ларька. Ларек этот был единственною лавкою на огромной, совершенно пустой площади, до того грязной, что Степан Андреевич даже содрогнулся, подумав: „А что же бывает тут поздней осенью!“ Вообще площадь наводила уныние. Однако был у нее булыжный хребет, и по нему, перейдя ее, Степан Андреевич вышел на Полтавскую улицу и увидел недалеко голубое крыльцо. Из всех окон на него смотрели с любопытством женские и детские головы. На голубом крыльце стоял примечательного вида человек, — был бы он раньше Ной или Авраам, — в широкополой шляпе и допотопном сюртуке, с грязной, белой, пророческого вида бородой, которую он ловко накручивал на палец и опять раскручивал. На ногах у него были надеты огромные сапоги, а вот брюк как будто вовсе не было, по крайней мере, когда распахивался сюртук, то видно было грязное dessous, весьма даже во многих местах продырявленное.

— Не здесь ли живет гражданка Зоя Борисовна Львович? — спросил Кошелев.

— Здравствуйте, молодой человек. Она живет здесь... вот в этом доме живет она...

— Вера Александровна Кошелева прислала ей платье.

— Мерси, молодой человек, ну, так что же мы стоим тут в грязи, идемте в дом.

Они вошли в совсем темные сени, где пахло многим, и прошли в довольно просторную комнату, уставленную старую кожаную мебелью. Кожа на креслах и на диване стала совсем шершавой и словно заржавела от времени. На стенах висели картины библейского содержания, тоже очень старые, и множество пожелтелых фотографий каких-то огромных семейств. Никого в комнате не было.

— Садитесь, молодой человек, на этом кресле... Ну, как же вы дошли до такой грязи?.. Ай, какая грязь, и это после одного дождя... Зоя, ну, иди же сюда. Тебе принесли платье.

В ответ из-за перегородки послышалось какое-то утвердительное междометие, но никто не вышел.

— Она дичится, — сказал Львович. — Ну, Зоя, скажи мерси молодому человеку, он не побоялся итти в такую грязь... Вы с Москвы приехали, молодой человек?

— Да, из Москвы. Далеко, не правда ли?

— Что значит — далеко, молодой человек? Наш сосед Келлербах — ну, так он ездит в Москву каждую среду.

— Каждую среду? Ведь это с ума можно сойти...

— Келлербах не сошел с ума... У него двенадцать деток... они просят кушать... Келлербах кормит своих детей. Он — мануфактурист.

— Надо заплатить три рубля, — сказали из-за перегородки.

— Если надо заплатить три рубля, то мы заплатим три рубля. Молодой человек, когда шел сюда, уже знал, что Львович не мошенник. А хорошо жить в Москве, молодой человек?

— Как кому.

— В Москве всякому лучше жить, молодой человек, потому что в Москве вся публика, и все для Москвы.

— Зато в эти тяжелые годы мы едва не умерли от голоду. О вашей Украине мы мечтали, как о царствии небесном.

— Плохое же это было, молодой человек, небесное царствие... правда, была у нас мучица и крупица и курятина... а сколько у нас было красных и белых и бандитов... И как те бандиты резали публику... Старых евреев прибивали к полу большими гвоздями через глаза и оставляли так гнить... Молодых девушек обижали на глазах у отцов, так что они умирали... А нехай лучше были бы мы голодные!

— Ну, зато теперь все это кончилось...

— Да, слава богу, молодой человек, теперь жить стало хорошо.

— Стало быть, вы довольны советской властью?

— А как я могу быть доволен или недоволен... Я маленькая сошка и я не политик... Нехай будет

всякая власть, только чтобы не мучили людей и торговали всяким товаром.

— А у вас только одна дочь?

— Нет, слава богу, у меня много детей и внуков. Но один сын мой живет в Минске, другой в Житомире, а старшие дочери замужем и живут в Кременчуге. Их мужья честные торговцы и крепко любят жен. У меня на той неделе родился шестнадцатый внук.

— Теперь очередь за Зоей Борисовной?

— Она молода и еще подождет... Она опора моей старости.

— Папа, отдайте три рубля.

— Да не убегут твои три рубля... А вы, молодой человек, племянник мадам Кошелевой?

— Да.

• — Им не так теперь легко жить. Ох, ох, ох... А прежде, ой, как они жили! У них был домик — игрушечка... Ой, какой был пан дотошный... Настоящий был пан и никогда не обижал бедных людей. Такому пану нужно поставить каменный памятник на площади и на золотой дощечке написать его имя. Три рубля... ты сказала, три рубля?

— Да...

— Ну, так, стало быть, три, а не два... Львович когда-то учился арифметике и еще не разучился считать.

Он медленно пошел в соседнюю комнату.

• Степан Андреевич случайно взглянул на стол.

Там лежал список белья — простой список белья, должно быть, предназначенного в стирку. Тот самый почерк.

Степан Андреевич вздрогнул, и на один миг как-то спова по-ночному туманно стало у него в мозгу.

— Вот три рубля, молодой человек, — сказал старый еврей, — мерси и кланяйтесь многоуважаемой Екатерине Сергеевне и многоуважаемой Вере Александровне. Ай, какая она красавица! Я ведь помню ее еще вовсе деточкой. Она была совсем как ангел... Такая симпатичная барышня. Опора матери... Ой, чтоб делала мадам Кошелева, если б не дочь. Она была бы вовсе нищей... А вы, молодой человек, адвокат или доктор?

— Нет, я художник.

— Художник... Вы рисуете картины?

— Да.

— И за них плотят деньги?

— Платят...

— Дай же вам бог, молодой человек, нарисовать очень много картин. А вы женаты?

— Нет.

— Хорошей жены и много, много маленьких деток...

— Подождите... еще надо найти невесту.

— А в Москве разве нет хороших невест?.. Там много девушек, и они все охотно пойдут за такого

красавца... И надарят ему детей, сколько он захочет...

— Скажите, это вы писали?

— Нет, это писала Зоя. А почему вам это хочется знать?

— Красивый почерк...

— Для прачки надо писать красиво, молодой человек, а то она не поймет и потеряет белье. Необразованному человеку трудно читать.

— До свидания.

— До свидания, молодой человек, дай бог вам благополучно перейти площадь... Зоя, скажи — до свидания. Выше подверните брюки и ступайте краем...

Львович стоял на крыльце и, когда оборачивался Кошелев, ласково кивал ему патриархальной своею головой. Но Степан Андреевич совсем не для этого оборачивался.

„Да, — думал с самодовольством Степан Андреевич, — я могу еще кое-кому вскружить голову. Но уж очень у них там чем-то пахнет. Нет. Надо на попадью направить главный удар и не разбрасываться“.

VII.

ХВОСТАТЫЕ БУРЖУИ.

— Степа, — сказала тетушка, — у меня к тебе большая просьба: живет у нас тут через три дома одна дама, бывшая здешняя помещица, урожденная

графиня Шилова. Муж имел подлость ее бросить в трудные годы... Мерзавец уехал в Аргентину и теперь отлично там устроился. А она, бедная, положительно бедствует... Знаешь, ты бы прошелся к ней со мной... Сейчас уж просохло! Она очень хочет про Москву тебя расспросить. Сама она не может выйти из дома.

— Что ж. Я с удовольствием.

— Ну, так пойдём... Марья! О, дурная баба... Я ж вам велела остатки печенки собрать.

— Це они, ваши остатки. Пудавитесь!

— Дура! Не смейте так говорить.

Марья хотела что-то ответить, но вместо того вдруг плюнула черным плевком и повернула в кухню.

Екатерина Сергеевна взяла сверток с печенкой и, вздохнув, засемила к воротам.

В ворота в этот миг вошел Бороновский. Он был по обыкновению зелен, но глаза его изображали удовольствие.

— Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, — сказал он, — здравствуйте, Степан Андреевич! Поглядите, как после вчерашнего дождя расцвела природа... Деревья совсем от сухости истомились... А вот попили — и смотрите, какими козырями стоят... Уже я за них вчера радовался. Вера Александровна дома?

— Дома-то она, дома.

— А что?

— Нервы у нее... Ох, уж эти мне нервы!.. И кто это их открыл! В мое время не было нервов.

— То-есть быть-то они были... Да на них внимания не обращали.

— Уж не знаю... Всю ночь молилась... ну, конечно, не выспалась.

— А вы бы ей сказали, что, мол, вредно себя утруждать.

— К ней во время молитвы разве подойдешь?.. Она, когда молится, часы останавливает, чтобы не били... говорит, отвлекают.

— Ну, я пока по саду поброжу. Может быть, Вера Александровна на террасу выйдет.

Анна Петровна Кобылина, урожденная графиня Шилова, обитала в доме бывшего баклажанского мещанина Зверчука.

В темной прихожей на вошедших навалилась острая вонь, похожая на ту, которая бывает в зоологическом саду зимою в обезьяньем доме.

Екатерина Сергеевна постучала в дверь.

— Кто там? — сказал за дверью настоящий дамский голос.

— Здравствуйте, Анна Петровна. Помилуй бог, или не признали?

— Екатерина Сергеевна? Дорогая моя, входите осторожнее. Мурс спит и видит удрать... Пойдите... Мурс! Я тебе задам, усатый! Пошел! Ну, входите, моя радость, но быстро.

Светлая полоска ударила по глазам. Екатерина Сергеевна вошла, а за нею двинулся и Степан Андреевич. Анна Петровна, в близоруком полумраке не видя его, хотела захлопнуть дверь, но та ударила ее о его плечо, а в это время под ногами с быстротой молнии прокатился темный шар.

— Мурс, : Мурс! — закричала Анна Петровна отчаянно и кинулась опростеться в сени, отпихнув неловкого гостя. — Дверь затворите! — крикнула она через плечо.

Степан Андреевич смущенно прошел в комнату взяв дверь на тяжелую щеколду.

— Как же это ты, Степа, замешкался? — проговорила Екатерина Сергеевна, покачав головою: — ведь если Мурс не вернется, Анна Петровна может прямо с ума сойти.

— Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, — слышался знакомый голос из-за шкафа.

Пелагея Ивановна появилась, красотою своею насыщая тесные пределы комнаты, и даже вонь стала как-то приятна и не рвала ноздри.

— А, и вы тут, — сказала тетюшка.

— Я с рынка зашла... Принесла кой-что Анне Петровне.

Комната Анны Петровны перемешала в себе в странной смеси все степени житейского благополучия. Возле стены стояла прогнувшаяся ржавая железная кровать с тюфяком без матраца. Тюфяк был

полосатый, красный, без простыни и без подушки. Рядом с кроватью этой возвышалось огромное кресло: белые ручки с золотыми грифонами, спинка и сиденье, обитые голубым штофом — огромное кресло, присутствовавшее в комнате, как генерал на свадьбе у бедных родственников. Еще был простой, из неморенного дерева стол и стулья, развинченные и расклеенные, готовые ежесекундно развалиться от первой же горячей жестикуляции сидящего на них. В углу стояла старая горка с посудой, но не с пестрым фарфором и не с сазиковским серебром, как бывает, а с примусом и двумя алюминиевыми кастрюльками. Окно было затянуто ржавою железною сеткою. В сетке этой застревала терпкая вонь.

Была одна в комнате деталь, которая не в первый миг выявилась, но когда выявилась, то решительно завладела вниманием — живая деталь: котищи, коты, кошки, кошечки, котята, котеночки, — всюду — на постели, под постелью, на столе, под столом, на горке, под горкой, на кресле, под креслом, рыжие, черные, пестрые, серые, белые, клубком, сфинксиком, умываючись, всячески, в безмерном довольстве, в роскошной праздности, презрительные к миру.

— Как вы думаете, Мурс вернется? — спросила с озабоченностью Екатерина Сергеевна.

— Вернется. Анна Петровна напрасно волнуется... Беда, что они вовсе не приучены гулять.

Из-под стула, на котором сидел Степан Андреевич, в это время вылез большой серый кот и, страшно выгнув спину, начал с хрустом потягиваться.

Затем он прыгнул на кровать, где спали кошки, и — с видом султана в гареме — принялся их лениво осматривать. Апельсиновый кот на горке, еще не проявляя особого оживления, тем не менее уставил на него тяжелый взгляд. Серый кот поглядел наверх и выпучил зеленые глаза с восклицательным знаком зрачка.

— Что вы подделываете, Пелагея Ивановна? — спросил развязно и по-светскому Степан Андреевич. — Как поживает отец Владимир?

— Он занят очень. Столько у него хлопот с церковными делами: на днях поедет с владыкою в Харьков.

— В самом деле? И надолго?

Взгляд у рыжего кота становился все пристальнее, а позиция все сосредоточеннее.

Серый кот насторожился.

— Да дня на три.

— Поскучать вам придется.

— Сейчас скоро варенье варить.

Коты теперь так и кололи друг друга глазами.

— Вот, вероятно, вкусное будет варенье.

— Почему же?.. Обыкновенное будет варенье.

— Ау — уа! — раздался дикий кошачий вопль.

Рыжий кот лавиной рухнул на серого, и они с воем покатались на пол. Кошки шипя выгнули спины, котята, котеночки, котешоночки посыпались как горох, и исчезли под горкой. Черный кот с белыми усами взвыл и метнулся на воюющих.

— Разнимите их, они съедят друг друга! — кричала Екатерина Сергеевна.

Пелагея Ивановна схватила рыжего кота и тотчас, вскрикнув, выпустила. На ее белой руке от локтя сразу протянулись три кровавых полоски.

— Ах, негодяи! — воскликнул Степан Андреевич и с рыцарским бесстрашием ногой хватил по сражающимся.

Коты перекувыркнулись и разлетелись по углам. Степан Андреевич вынул из кармана чистый платок и разорвал его.

— Степа! Что ты! — с жалостью вскричала Екатерина Сергеевна: — батистовый-то.

— Бог с ним. Пелагея Ивановна, позвольте вашу ручку: я опытный хирург и прекрасно перевязываю раны... Ах, подлые коты... Не туго?

— Ничего. Платок только жалко.

Без эффекта прошла перевязка.

В дверь постучали.

— Пелагея Ивановна, — слышался голос Анны Петровны, — у меня к вам, душечка, просьба. Откройте дверь и сразу захлопните, боюсь, как бы не удрал Макдональд.

Анна Петровна просочилась в комнату сквозь почти незримую щелку. На руках у нее уже спал толстый полосатый кот.

— Вот он, злодей,— говорила Анна Петровна, улыбаясь счастливо,— вот он, разбойник. Кот! Кот! Мы гулятиньки захотели... нам надоело дома сидюшеньки. Кот! Кот!

Это была не старая еще женщина, очень худая и бледная, слегка похожая на Данте, в черном шелковом платье с бархатными заплатами и в широких мокасинах из рогожи.

— Вот это мой племянник,— сказала Екатерина Сергеевна.— Напрасно вы волновались... Мурс никогда не пропадет.

— Ах, не говорите, Екатерина Сергеевна,— очень приятно познакомиться, милости прошу садиться,— он иной раз на соседний двор бегает к одичавшим кошкам... Ну, помилуй бог,— обидят его мальчишки или собаки задерут... А мы ведь драчуны... Ох, мы какие драчуны!

Полосатый кот вдруг подпрыгнул и, вырвав из рук Екатерины Сергеевны сверток, разбросал печенку.

Тучей бросились из всех углов котики, коты, кошки, кощечки, котята, котеночки.

— Ах, обжоры, ну, посмотрите! Ведь только что их накормила. Гур, не мешай же кушать Гризетке... А этот-то... этот гуляка за обе щеки

так-таки и улетает... Ах, вы, мои глупышочки!

Коты, чавкая и журча, жрали печенку, узорами растаскивая по полу сало.

У Степана Андреевича сквозь череп слегка стал просачиваться острый смрад. Мозгу тесно стало.

— А без вас тут драка была... Макдональд с Васькой... Пелагея Ивановна вон как руку починили.

— О, они починят... Мне раз до кости палец прокусили. Мы, скажите, зубастые... у нас когти острые, зубы крепкие... Мы, скажите, драчуны, шалуны... Кот! Кот! Да не мешай же кушать Гризетке!.. и за едой ловеласничает.

Но тут уже все гости сконфузились и сделали вид, что кошек и нет вовсе в комнате. Только Анна Петровна легонько шлепнула Мурса по жирному полосатому заду:

— Брысь, ловелас!.. Стыдно!.. И ты, Гризетка, не срамись.. Под стол ступайте, под стол... Подумаешь, какие! Ромео и Джульета.

— Степа прямо из Москвы приехал,— вздохнув, заговорила Екатерина Сергеевна, в то время как Пелагея Ивановна усиленно скребла ноготочком на столе какие-то пятна.

— Каково мне это слышать, моя золотая! Ведь я-то сама коренная москвичка. Всегда с рождения жила в Москве, в Сивцевом Вражке, у теток там был дом... И вот теперь... гнию в Баклажанах...

Без копейки денег. А прежде тратила на платья по четыреста рублей за фасон... Я в Париж ездила специально шить платья у Пуарэ... Ламанова ко мне за советом обращалась. Макдональд... не увлекайтесь печенкой... помните, мой друг, что у вас некрепкий желудок... Я проклиная тот день, когда я покинула Москву и по увещанию мужа поселилась в нашей здешней экономии. Я так скучала... Правда, зимой я ездила в Париж... Но летом... вместо Биаррица или Остенде — вообразите—Баклажаны... Я привыкла к пляжу, к казино... приличная публика. А тут самые дикие нравы... И отсутствие природы. Степь. Муж меня прямо носил на руках, но мне от этого было не легче... А потом еще эта революция... Мы переехали в город, потому что в деревне прямо было страшно жить... Васька... ведь ты же знаешь, что песочек за шкафом... Нечего мурлыкать... Очень стыдно. А при Скоропадском муж мне предложил бежать за границу. А я—я подошла к своим гардеробам и думаю: как же я оставлю платья... Багажа нельзя было брать... И потом еще мебель. Я отказалась ехать. А он — странный, обиделся, что я предпочла ему платья, и уехал один. Теперь я давно все продала... и так трудно жить... Я писала мужу, что теперь я согласна... но он не отвечает... Ах, это такой эгоистичный человек... Помните Наталку Переперченко? Она ведь теперь также где-то в Бразилии,

и я еще кое-что подозреваю... Но скажите... когда же все это кончится?

— То-есть что?

— Большевики. Ведь это же ужасно... Нами правят хамы... Я — графиня — хожу в этом тряпье, а моя бывшая судомойка шьет себе каждый месяц новое платье.

— Ее муж хорошо зарабатывает, — заметила Екатерина Сергеевна.

— Да, но кто она такая?.. Ведь это же надо, мое счастье, принимать в расчет... Я вовсе не крепостничка и я никогда на прислугу не кричала, но за стол я с собою кухарку не посажу... Il y a quelque chose... что воздвигает между нами стену... И они это понимают...

— Советская власть к сожалению очень прочна, — почему-то обиженно сказал Степан Андреевич, — у нас в Москве о контр-революции все и думать-то забыли.

— Но за граница не будет же терпеть большевиков... Гинденбург, например, очень порядочный человек... Он не допустит, чтобы людей грабили безнаказанно у него на глазах. Ведь нас же всех ограбили... Ну, а чем живут у вас в Москве люди нашего круга?

— Служат, работают...

— Но где же служат?

— На советской службе...

— Ну, я не думаю, чтоб порядочный человек служил большевикам.

— Отлично служат и очень довольны.

— Мой племянник, я знаю, торгует папиросами, но служить он не идет... Он чтит память своего отца. Впрочем, были ведь и среди аристократов подлецы. Лучшие люди сейчас, разумеется, за границей.

Степана Андреевича засосал червячок. Но засосал как-то не по-московски. Должно быть, не к тому месту присосался.

— Не знаю, что делают за границей эти лучшие люди... Иностранцы, кажется, их не очень поощряют. Говорят, в Париже если скандал — обязательно замешаны русские эмигранты...

— Не думаю, чтоб мои, например, родные вели себя в Париже недостойно. Они не захотят пятнать фамилию Шиловых. Но в Москве, говорят, такой ужас. В квартирах теснота... Все загромождено...

— Мы привыкли...

— А женщины, говорят, совершенно потеряли мораль... Они пьют вино хуже мужчин... Да позвольте, ведь это вы же мне рассказывали, Екатерина Сергеевна...

— Мне Степа говорил...

Степан Андреевич подавился неродившимся словом.

— Ну, конечно, — сказал он, — катастрофическое время не могло пройти без последствий... Но все-

таки нельзя отрицать, что революция принесла и много пользы.

Наступило нескладное молчание. Комната урчала мурлыканьем дремлющих котов. Мурлыканье это текло из всех углов, из-под стола, из-под кровати, с горки, отовсюду. Оно было разнообразно и напоминало хаотическое тиканье часов в часовом магазине.

Анна Петровна недоуменно молчала, моргая глазами, а Екатерина Сергеевна с некоторым испугом поглядывала на Степана Андреевича. Пелагея Ивановна встала.

— Пойду домой,— сказала она и подняла с полу громадный баул с провизией.

Степан Андреевич вскочил.

— Я вам донесу его до дому. Разве можно вам, да еще раненой, носить такие тяжести!

— Вы, право, напрасно беспокоитесь.

— Нет, нет. Мои рыцарские чувства вопиют. И он отнял у нее баул.

— Но вы „все-таки“ еще навестите меня... Я в эти часы всегда дома...

Екатерина Сергеевна тоже поднялась.

— И я пойду. Надо за Марьей последить. Сегодня у нас молочный кисель. Как бы она молока не отхлебнула... Она на это способна. А потом на кошку солжет... А зверя не спросишь.



VIII.

БАКЛАЖАНСКИЙ СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ.

Степан Андреевич был плохой спорщик. При всяком споре прежде всего замирало у него сердце и нервически невпопад подергивалась физиономия. Такая уж была у него натура. Обижался при этом он страшно на чужое мнение и долго не отходил. В данном случае обиделся он и рассердился неизвестно на что, а, вернее, бессознательно на себя самого, ибо противница говорила, как выяснилось, его же слова. И почему бы ему было оскорбляться за большевиков? Дух противоречия или дурацкая ошибка вышеописанного червячка. Во всяком случае, идя с Пелагеей Ивановной по усаженным акациями улицам, он сказал сердито:

— Я вполне понимаю ее мужа. И я бы уехал. Глупость какая: не могла оставить платья. И потом эти кошки.

— Во время мужа у нее кошек не было, — сказала Пелатеев Ивановна.

— И нельзя же огулом отрицать всю революцию. Неужели уж все до революции было так хорошо? Не знаю...

Они молча шли некоторое время.

На Пелагее Ивановне было платье, немножко напоминающее старинные платья, как их рисуют

на миниатюрах. Декольте, пышные коротенькие рукава и очень в талью.

— Я не знал, что вы будете у Анны Петровны... Но чулочки ваши целы...

При этом ему представилось илистое дно Ворсклы. Бедные чулочки!

Она промолчала.

— А батюшка вас не спрашивал, где ваши чулочки?

— Он знает.

— Разве вы ему рассказали, как я вас спас?

— Конечно.

— Во всех подробностях?

Добился. Как густые сливки, налитые в стакан кофе, падают на дно и потом клубами заполняют постепенно стакан, так откуда-то из-под декольте поплз румянец.

Степан Андреевич ощутил ликование во всем теле.

— Но вы на меня не сердитесь, — проговорил он тихо и виновато, — право, я тогда совсем потерял голову, а вы были так прелестны... Это был поцелуй, преисполненный прежде всего восхищения... Я потом рвал на себе волосы, сообразив, что вы могли истолковать это как-либо иначе.

При этом Степан Андреевич до того увлекся, что даже пригладил свой пробор.

— Успокойте меня. Скажите, что вы не думаете обо мне дурно.

— Это было очень нескромно с вашей стороны... Но уж все мужчины так поступают...

— Вас уже, значит, и прежде спасали из реки?

— Нет, что вы!

— Почему же вы говорите про всех мужчин?

— Потому что мужчины не уважают женщин...

— И ваш супруг тоже?

Она вдруг сказала строго:

— Он священник.

— Ну да, конечно, он не в счет. Стало быть, по-вашему, если человек не священник, то уж он и женщину уважать не может?

— Я, право, ничего не знаю...

— Вы, однако, сказали... Ну, а если я, предположим, вас люблю?

— Вы меня любить не можете.

— Почему?

— Не знаете вы меня.

— Разве для любви нужно знать? Разве не влюбляются с первого взгляда?

— Это любовь пустая.

— Ну, а ваш супруг вас полюбил, когда хорошо узнал?

— Он меня знал ребенком еще.

— Нет, я признаю только внезапную любовь.

— Признавайте или не признавайте, все равно она при вас останется.

— Наверное?

— Наверное. А вот мы и пришли... Спасибо за помощь.

На крыльцо вышел отец Владимир. Он любезно улыбался и пощипывал бородку.

— Доброго здравия, — сказал он, кругообразно протягивая руку, — зайдите, милости просим, в наши кельи.

— Я спешу...

— Ну, что за спех у нас в Баклажанах... Это ведь не Харьков, где на трамвай, глядишь, не поспеешь, или еще что... У нас тихо... К воловьему шагу приспособляем жизнь... А я ведь еще и не поблагодарил вас: мою нимфу от смерти спасли... спасибо вам, спасибо... Она у меня как до воды дорвется — все забывает... Просто, русалка. Ну, так зайдите, чайку выпьем, потолкуем.

Степан Андреевич зашел.

Чистенько и уютно было в домике. Если бы не рязь и не соломенный полуцилиндр, висевший на стене, никак нельзя было бы догадаться, что живет тут лицо духовное. На стене висели картинки, больше пейзажики и натюр-морты. Все гладенькие и бесхитростные, откуда хочешь смотри, не надует картина. Иоанн Кронштадтский висел над письменным столиком, а под ним портретик

самой нимфы — отличная фотография, похожая очень.

— Замучили нас обновленцы, — сказал отец Владимир, усаживая гостя возле окна, — дался им наш владыко... Отслужи да отслужи с ними совместно... А владыко наш крепок, как дуб... Не гнется... Ну, вот и вызывают они его на всякие совещания... По два раза в неделю в Полтаву, а теперь еще в Харьков. Ну, как можно так человека мучить?

— И вы, я слышал, едете.

— И я еду на сей только раз. Голос мой, разумеется, слаб, но владыке одному трудно... Стар он становится, и подобная езда в переполненных вагонах губительно отражается на его здоровье. Дня через два едем.

— Что ж, я вам завидую. Вы тверды в вере и за нее стоите. Я бы хотел быть на вашем месте.

— А вы разве не веруете?

Степан Андреевич считал невежливым сказать священнику, что он не верует в бога — все равно, как сказать писателю, что не читает книг.

— Я, знаете, может быть и верю... но как-то иногда... Какая уж теперь в Москве вера... Тяжкое время пришло для церкви, — любезно прибавил он.

Отец Владимир улыбнулся, и глаза у него вдруг заблестали.

— Именно теперь-то и вера, — сказал он спокойно. — И вовсе не тяжкое время для церкви, а

хорошее время. От похвал да от поощрения жиреет земная церковь, буржуйкой делается и о небесном женихе своем забывает... Что крыши теперь в храмах не крашены да протекают, это так. Ну, конечно, священнослужители в бедственном состоянии и многие голодают и терпят гонения... так ведь на то они и священнослужители... Они-то уж помнить должны, что не о хлебе едином. Разрушается видимость, оболочка и мишура, а пламя-то церковное, когда задуть хотят его, тем ярче пылает. Нет, милостивый государь, не имею удовольствия знать имени и отчества...

— Степан Андреевич.

— Нет, Степан Андреевич, неправда это, что сейчас дурное время для церкви. Воистину нужное ей подошло страдание, ибо не в том церковь, что архиереев министры обедами угощают и для них концерты в благородном собрании устраивают... Не в том ее сила, и благополучие внешнее — лютейший ее враг, приспешник дьявола. Из крестных мук родилась она и ими живет и ими жива будет вовеки.

— К сожалению, не все священники так рассуждают.

— По слабости, ибо сильна плоть, и, конечно, раньше жилось лучше и за требы платили больше и не подвергали карам за веру. Так не с этих слабых пример брать.

Пелагея Ивановна принесла в это время чайник, достала из шкафа чашки и блюдца.

Степан Андреевич посмотрел на нее и тут же отвернулся, словно сделал что-то нехорошее.

— А все-таки русский народ по существу не религиозен,— сказал он,— „Безбожника“ у нас все мужики читают.

— Насчет „Безбожника“ недавно смешно тут у нас один дядько с членом исполкома поспорил. „Ты же говоришь, нет бога, а як же він тут намалеван“. „Так ведь это,— тот отвечает,— насмешка“. „Так это надо мной смеются?“ „Не над тобой, а над богом“. А тот махнул рукой и говорит: „Плевав господь на твою дулю“.

— Вообще этот дядько Перченко очень остроумный,— оживившись, сказала Пелагея Ивановна.— Помнишь, как он полтавскому коммунисту ответил...

— Да, да... Сюда, знаете, приезжал такой коммунист из Полтавы... Вот ему и стали все жаловаться: плохо, мол, живется. А он и отвечает: „ну, что ж, это известное дело, там хорошо, где нас нет“. А Перченко и говорит: „это верно, говорит, где вас нет, там очень хорошо“,— т.-е где коммунистов нет... Ха, ха!

Странно, удивительно странно устроено сердце человеческое. А, может быть, и не вообще человеческое сердце, а в частности сердце Степана Андреевича Кошелева. Теперь обиделся он вдруг

на мораль и на вечную истину, на (тьфу! тьфу!) категорический императив обиделся. Вдруг почувствовал он, что совестно ему вождедель к замужней женщине, да еще при духовном муже, стыдно посягать на семейный уют. Это уж что такое, и в каком веке мы живем, и откуда такие мысли?..

— Мне пора, — сказал он, — надо еще поработать.

— А какая у вас работа?

— Я — художник.

— Зарисовываете наши окрестности?

— Да... понемножку. Спасибо за угощение.

— Вам вечное спасибо. Поистине господь внушил вам о ту пору искупаться... Благ он и милостив во всем, а мы не замечаем и все приписываем случаю...

— Во всяком случае, я тоже очень рад, что спас Пелагею Ивановну.

— Спасибо вам...

Степан Андреевич поспешил завернуть за угол. В воротах кошелевской усадьбы столкнулся он опять с Вороновским.

— Что с вами? — вскричал он, пораженный выражением его лица.

— Нездоровится... Знобит и вообще... плохо. Ну, я поспешу.

Степан Андреевич поглядел ему вслед, отвернулся и вдруг весь затрепетал от какого-то романтического восторга. Молодостью захлебнулся.

Он пошел бродить по зеленому саду и, отплёвывая косточки мягких сладких абрикосов, напевал из Риголетто:

— „Та иль эта, мне все равно, мне все равно. Красотою все они блещут...“

IX.

ДЕВУШКА ИЗ КАЛЬКУТТЫ.

— Владыко с отцом Владимиром в Харьков уехал,— сказала Екатерина Сергеевна,— Клавдия Петровна уж молебен служила о плавающих и путешествующих. Она все боится, что владыко под поезд попадет. В самом деле, страшно. Старый человек и притом в расе.

Степан Андреевич быстро обдумал план.

Прежде всего, он отправился на Степную улицу и зашел в трикотажную лавку, где на подоконнике, по-столичному, стояла деревянная дамская нога в чулке цвета раздавленной ягоды.

Лавка была очень тесная и насквозь пропахла чесноком.

— У вас есть серые дамские полупелковые чулки? — спросил Степан Андреевич, изнемогая от количества эпитетов.

— Как же у нас не быть чулкам? Есть чулки. Какой номер?

— Обыкновенный.

— Необыкновенных номеров нет... точеные ножки или пухленькие?

— Средние... вот как на окне нога...

— О... такие шикарные ножки! Вот чулки... Такие чулки, что жалко продавать: первый сорт.

— Сколько я вам должен?

— Вы мне ничего не должны, а стоят они два рубля... и это так себе, даром.

Чем ближе подходил Степан Андреевич к дому отца Владимира, тем беспокойнее становилось у него на сердце.

Какой-то страх неожиданно заставил его умерить шаг. Что за ерунда!

В конце концов, если он даже и зайдет в гости к Пелагее Ивановне, в этом не будет ничего особенного, да и ни одна женщина никогда не может серьезно рассердиться, если человек влюблен в нее или даже таковым прикидывается. Он дошел до угла, с которого был виден священный приют. Старуха пошла за водой, взвалив на плечо коромысло с зелеными ведрами. Что-то белое промелькнуло между деревьями садика: она дома. Степан Андреевич почувствовал приятное волнение, но какая-то робость еще удерживала его.

Вероятно, в следующий миг Степан Андреевич решил бы и пошел делать непрощенный свой визит, если бы одно незначительное происшествие не разрешило самым грубым и неприятным

образом все сомнения и психологические колебания.

Домик отца Владимира находился на окраине Степной улицы, переходившей затем в стационарное шоссе. И вот по этой улице послышался вдруг грохот едущего фэтона и цоканье подков. Степан Андреевич обернулся. Очевидно, со станции трясся пыльный фэтон, управляемый усатым извозчиком с корзиною в ногах, а в фэтоне сидели: молодой еще господин в инженерской фуражке и три особы женского пола, молодые, загорелые, в белых шляпах и плохеньких, но городских костюмах. Молодые особы эти, видимо, раскисли от хохота и так вертелись, что поминутно грозили вылететь из фэтона. Картонки и свертки горой лежали у них на коленях.

Веселое общество это с хохотом прокатило мимо Степана Андреевича, фэтон вдруг повернул к дому Пелагеи Ивановны и... остановился. Сама прекрасная обитательница выбежала на крыльцо, где моментально образовалась целующаяся группа из пяти человек, где четыре целовали одну, тискали, с хохотом передавали друг другу, крича и визжа на все Баклажаны. Компания эта вместе с картонками и свертками вонзилась в дом, а извозчик внес туда и корзину, как бы подтвердив ее тяжестью совершившийся страшный факт. Степан Андреевич, проходя мимо

домика, искоса поглядел в окна. Во всех комнатах теперь вертелись и помирали от хохоту веселые грации; инженер, размахивая руками, повидимому, рассказывал дорожные анекдоты, и кто-то лихо отдельывал уже на рояли „Осенний сон“.

Вечером от тетушки услышал Степан Андреевич разъяснение: к Пелагее Ивановне приехал из Киева ее брат с женой и двумя сестрами жены. Инженера звали Петр Иванович, его супругу София, а девиц Надежда и Любовь, по отчеству Андреевны. Приехали они, по всей вероятности, на месяц.

Если, выражаясь по-старому, господь бог, вняв молитвам самой ли попадьи, ее ли праведного супруга, воздвиг вокруг ее целомудрия прочную и при том весьма смешливую живую стену, то не дремал, опять-таки по-старому выражаясь, и дьявол.

Дьявол этот не стал брать напрокат из адской костюмерной одеяния Мефистофеля, не стал нашептывать на ухо белокурой красавице по ночам соблазнительные речи. Дьявол отлично понял, что подобная всякая бутафория отнюдь не будет созвучна нашей эпохе и не принесет, следовательно, желательных результатов. Придумал он поэтому способ, может быть, более сложный, но за то и более действительный и несравненно более, по нынешнему, романтический. А именно — он явился однажды к кинематографическому антрепренеру,

гражданину Якову Бизону, Харьков, улица Шевченко, — номер чорт знал, — и, выбрав удачную бессонницу, пробормотал невзначай над самым ухом: „Если бы „Девушку из Калькутты“ пустить по глухим городам, то, пожалуй, был бы хороший гешефт. В Баклажанах, например, есть театр и городской сад, где давали даже „Заговор императрицы“. Театр больше похож на сарай, а, следовательно, на кинематограф. Отличная идея!“

Бизон был из тех, про энергию которых ходят анекдоты. Через пять дней в Баклажанах уже были расклеены афиши: „Девушка из Калькутты“ с участием сестры знаменитой Мэри Пикфорд. Лучшая фильма XX века. Трогательная история индийской девушки, отказавшейся продать свою честь капиталисту за миллион фунтов стерлингов. Участвуют живые тигры, слоны и крокодилы. Красноармейцы платят половину“.

Случилось, — и это не без дьявола, — что вся веселая компания вместе с Пелагеей Ивановной привалила к Кошелевым пить чай. Нахотавшись до слез, попытались заговорить — и опять расхотались до полного расслабления.

Девушки были крепкие, красивые, кровь с молоком, распространяли одуряющий запах сильных духов, разбавленных в известной пропорции телесными испарениями. Одним словом, были девушки, по-немецки выражаясь, zum fressen. Жена инженера

Софья Андреевна хоть и не была девицей, но им не уступала в здоровой живости, показывала фокусы из хлебных шариков, колотила мужа по щекам, если тот фривольно острил, а когда хохотала, открывала огромную пасть, в которую сестры и муж моментально что-нибудь швыряли, либо бумажку от конфеты, либо окурок, либо хлебные шарики. Когда говорили Екатерина Сергеевна или Степан Андреевич, девицы конфузливо умолкали и старались не смотреть друг на друга, прикусив губы. Но стоило кончить им говорить, как они снова лопались и хохотали до седьмого поту, приводя в оправдание, что вспомнили что-то смешное.

Вера, как только привалила, по выражению инженера, „кампашка“, ушла в комнаты.

— Тихе! — крикнул вдруг инженер. — Спокойствия! Спокойствия, милостивые государи и плешивые секретари!

Уж не хохот, а целый пушечный залп покрыл эти слова, девицы тряслись, размахивая грудью и расчесывая икры, кусаемые мухами.

— Петька, не смей! Петька, уморил! — кричала Софья, икнув от хохота.

— Спокойствия! Знаете ли вы, что сегодня в городском саду первый сеанс „Калькутты из девушки“, виноват — наоборот?

Девицы вскочили и умчались в сад, чтоб откататься в траве. Сидеть они больше не могли.

Екатерина Сергеевна была кулаком по спине подавившуюся Софью. Степан Андреевич тоже смеялся, хотя в душе он злился на всю эту компанию, как он полагал, идиотов.

— Вот я и предлагаю in corpore, по-русски—всем телом, пойти на эту Калькутту.

Девицы услышали предложение. Они в это время поднимались на террасу.

— Ура! — закричали они. — Дашь Калькутту!

И вдруг все замерли, как школьники при появлении строгого директора: Вера стояла в дверях террасы.

— Пойдите и вы, Степа,— сказала она насмешливо,— развлекитесь, не все дома сидеть.

— Меня не приглашают,— произнес он тоже почему-то смущенно.

Но девицы услышали это и уже висели на инженере, что-то шепча ему.

— Надеюсь, вы не откажетесь пойти с нами?— сказал он, стряхивая девиц.

— Благодарю вас, с удовольствием. А вы, Вера, пойдете?

— Нет, что вы! У меня есть дела поважнее кино.

— Вера Александровна! На коленях молим вас.

— Нет, нет!

— Ну, не смеем настаивать.

Так как было почти восемь часов, то решили немедленно двигаться.

Городской сад и театр в Баклажанах ничем не отличались от подобных же мест во всех других городах союзной провинции.

Глухой забор отделял сад от главной улицы, а за забором весь день погромыхивал кегельбан. Спектакли начинались, когда соберется публика, часов в десять вечера, и продолжались, особенно оперы, до рассвета. Во время длительных антрактов публика гуляла в саду, пила воды и пиво. Барышни ходили, обнявшись по пяти, по шести штук, и отлузгивались семечками от кудрявых ловеласов во френчах.

На этот раз в саду было особенно большое оживление, ибо кинематограф стал редким гостем в Баклажанах. Гражданин Яков Бизон, пробегая по саду, языком прищелкивал от удовольствия.

Самое здание театра было мрачно и действительно напоминало больше сарай. Экран, впрочем, натянули очень хорошо, только полотно было с протенью, так что все картины шли как бы под непрерывным дождем. Гражданин Яков Бизон был не просто кинематографическим предпринимателем, но и сознательно относился к своей работе.

Каждой фильме он непременно предпосылал предисловьишко, за что поощрялся начальством. Конечно, если демонстрировалась драма „Подвиг красноармейца Беднякова“ или „Когда стучит

молот“, так тут уже гражданин Бизон ничего не говорил. Тут и без слов все было ясно. Но такие фильмы почему-то избегал ставить гражданин Яков Бизон не то чтоб из убеждений, а так как-то... Лучше уж с предисловием (о предисловии в афише ничего не говорилось, чтобы публика не опаздывала).

Степан Андреевич и его спутники вошли и заняли первые, — то-есть иначе последние, у стены, места как раз, когда гражданин Яков Бизон вышел на авансцену перед экраном.

— Товарищи, — сказал, он, — в наши дни краха буржуазии и торжества пролетариата, когда исторический материализм стал азбукой каждого человека, который мыслит здорово, и когда не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание, то, приняв в соображение все это, товарищи, я и спрашиваю себя, нужна ли нам „Девушка из Калькутты“? Да, нужна, товарищи! Мы должны вскрывать язвы капитализма, должны определенно сказать себе: нет, этого-таки не должно быть, то-есть чего не должно быть, товарищи? Чтоб девушка была в зависимости от эксплуататоров, хотя бы она и жила в далекой Индии. Пусть хмурятся брови рабочих, смотрящих в эту фильму, и пусть громче стучит по наковальне бодрый молот. А теперь, товарищи, приступим с глубоким чувством негодования к рассмотрению язв разлагающегося капитализма.

Послышалось знакомое с гимназических лет шипение, и на экране появилось сначала заглавие драмы, а затем портрет сестры Мэри Пикфорд под проливным дождем, которая, поворачивая лицо справа налево, посередине показала публике огромные с кулак зубы.

— Вот так клавиатура, — пробормотал инженер.

Девицы фыркнули и затряслись от безнадежного хохота.

Задребезжал из мрака рояль: „Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея“.

На секунду появился толстый человек, сидящий в роскошном кабинете и пишущий что-то со сказочной быстротой.

Тотчас же явилось и письмо: „Любезный друг, у меня выдался досуг. Хочу съездить к тебе в Калькутту. Меня там никогда не было. Твой граф Антон“. На секунду опять явился граф, языком заклеивающий письмо. Затем лакей сразу захлопнул дверцу автомобиля. „Ямщик, не гони лошадей“, заиграл аккомпаниатор.

„На пароходе „Феникс“ ездил только самая нарядная публика“.

— Дивись, дивись, якій парнице! — крикнул кто-то в первом ряду, но публика зашикала.

Пароход торжественно отходил от пристани.

Степан Андреевич сел рядом с Пелагеей Ивановой. Он как-то сразу не вник в картину и плохо

понимал. Йскоса поглядывал на ее освещенный экраном носик. Она так и впилась в картину.

„Граф Антон не обращал на разодетых дам никакого внимания“.

Степану Андреевичу вспомнились далекие годы, годы выпускных гимназических экзаменов, когда, бывало, сплавив навсегда с плеч всю историю мира, бежал он в Художественный электротئاتр, чтобы якобы случайно встретиться там с кокетливой гимназисточкой, только что навеки расквитавшейся с законом божьим. И тогда он сидел так же и косился на белый носик и слышал сзади бормотню такого же, как он: „Чуть-чуть не подпортил. Забыл, кто разбил кружку при Суассоне. Сказал—Карл, а оказывается—Оттон. Потом папа такой есть Гильдебранд, а я сказал Гальберштадт...“—„Это что,—шептал носик,—а я гонения все перепутала, хорошо — архиерей добрый. Не прицепился.“ — И тогда также плыли пароходы, носились чайки, мчались автомобили... Да было ли это когда-нибудь? Не было ли это просто шуткою того самого сознания, которому потом на орехи досталось от октябрьских пулеметов?

„Друг графа Эдуард жил безбедно, предаваясь порокам“.

Человек в белом костюме опрокинул себе в горло бокал шампанского и под бешеную руладу бросился на шею графу.

„Друзья не видались семь с половиною лет“.

Индианка вся в белом вдруг появилась в персептиве пальмовой аллеи. Граф, пораженный, поглядел ей вслед. Мгновенно расплылась по всему экрану его громадная физиономия с выпученными глазами и перекошенным почти до уха ртом.

— Втюрился Антоша,— сказал инженер, сам зажимая девицам рот.

— „Увы, сомненья нет, влюблен я“,— раскатывался пианист.

Степан Андреевич сидел и нервничал. Он не любил вспоминать далекое прошлое, а тут оно лезло с каждого квадратного миллиметра грязноватого экрана. Из всей тьмы кинематографической перло. И к тому же Педагога Ивановна не подавала никаких признаков. Ей было просто любопытно смотреть и больше ничего. Сосед ее, повидимому, и не интересовал вовсе.

Но был миг и некоторого удивления, когда вдруг действие моментально перенеслось в джунгли, и прямо на публику помчался остервенелый тигр. Девы завизжали, кто-то крикнул: „Хіба так можно!“—а Педагога Ивановна вдруг схватила за руку Степана Андреевича. Правда, она тут же сказала: pardon. Но дальше пошло лучше.

„Молодой моряк Джон любил после бури выпить пива“.

В оживленной таверне бражничали моряки.

— „Коперник целый век трудился, — гремел рояль, — чтоб доказать земли вращенье“.

Но затем сразу явилась та самая девушка, мечтающая у ручья.

„Грезы Аталии были далеки“.

— „Дурак, зачем он не напился, тогда бы не было сомненья“.

Но, спохватившись, нырнул последний аккорд в грустную „Ave Maria“.

А моряки снега уже бражничали и швырялись бутылками, растерявшиеся звуки запрыгали в крамбамбули и, спотыкнувшись, раскатились „Не плачь дитёй“, потому что толстомордый моряк хлопнул по плечу Джона и выплюнул надпись:

„Джон, ты что-то грустен сегодня“.

И опять девушка у ручья, тигр в джунглях, и вдруг:

„Чтобы увидаться с Аталией наедине, Джон выбрал лунную ночь“.

И вот тут-то, и вот тут-то... Степан Андреевич почувствовал, как вздрогнула его соседка. Да, это был он. Тот самый фокс-трот, проглоченный тогда черною рясой. О, каким прекрасным казался Джон на фоне лунной джунгли!.. Как огромны были глаза у Аталии... Еще миг, и она перестанет отталкивать его. Уже... Перестала. И сразу разлетелась индийская ночь в пошлейшую электрификацию, и тускло просветлела надпись: „Конец первой части“.

Но уже флюиды, флюиды незримые кружились по воздуху, и перестал острить инженер.

О, бедный, разбитый баклажанский рояль, зачем исторг ты из помещичьих недр своих греховные звуки, и разве не могла ну, хоть поддюрановский вальс целоваться с Джоном Аталия? Да, конечно, могла, но ведь в этот миг не бывший полтавский „вундеркинд“, а сам маэстро с хвостом и рогами разбрасывал по клавиатуре синкопы; но никто не видел этого маэстро, ибо темно было в зале, а если кто и видел, то побоялся бы сказать по соображениям цензурного свойства!

Много было еще частей и много тигров и много крокодилов. Под марш Буланжэ швырнула Аталия в океан миллион фунтов стерлингов, и в ярости умчался на расфранченном слоне посрамленный капиталист. А флюиды все множились и плодились, и плечо льнуло к плечу, и локоны щекотали щеку.

„Граф Антон разочарованный вернулся в Лондон“. „О, жестокая Аталия! Ты сидишь у камина“. И вдруг полный мрак и затем под последние аккорды — надпись: „Усі пролетарські покупці купляють крам у Ларці“.

Электричество зажглось.

Мигая глазами, смущенно улыбались растроганные девицы.

— Вот-с! Берите пример, — говорил инженер. — Миллион в море швырнула. — Да, будь я девушка...

— Петька, не дури. Я что-то даже расстроилась. Пелагея Ивановна шла, опустив голову, глазки ее блестели, а руки дрожали.

— Удивительно сильная фильма, — говорила Софья. — Я такую что-то в первый раз вижу.

— Ну, что ты. А „Леди Гамильтон“?

— Ну, там старина... В старину мало ли что было.

Пошли домой. Степан Андреевич пошел провожать „кампашку“. Идя, Пелагея Ивановна один раз украдкой поглядела на него. Нет, это не Пелагея Ивановна, скромная кисейная попадья, поглядела на художника, члена всерабиса Кошелева, — это Аталия, сестра Мэри Пикфорд, под вой тигров посмотрела на Джона...

Степан Андреевич - Джон поймал этот взгляд и в глухой тени акаций обнял и поцеловал красавицу прямо в горячие губы, и губы ответили ему так, что голова закружилась.

И радостный чорт, услыхав поцелуй, взмыл по вертикали.

Х.

БАКЛАЖАНСКИЕ ОГОРОДЫ.

Степан Андреевич проснулся в настроении боевом. В прекрасном настроении проснулся Степан Андреевич. Он весело перемигнулся с голубым миром и особенно тщательно пригладил пробор.

„После вчерашнего пощелуя ничего, если даже она догадается, что чулки другие, — думал он, погружая палец в зеленый липкий бриолин, — скажу, что те потерял, только вот как отвадить всю эту компанию?“

Однако он тут же решил, что можно и просто прийти в гости, а там уже видно будет.

Дорогу выбрал он кратчайшую, по задворкам через огороды.

Но тут упустил он из виду одно замечательное свойство Баклажан. Дело в том, что Баклажаны, при всей их кажущейся простоте и наивности, в средней своей части построены, однако, по строжайшему плану на манер Петербурга, иначе говоря, все улицы там идут параллельно и перпендикулярно друг другу, и сходство домов делает их почти неразличимыми для неопытного кацалского глаза. Степан Андреевич ткнулся на один огород, потом на другой, спугнул кролика, который, как мячик, вылетел у него из-под ног, наткнулся на какой-то плетень, которого, по его мнению, никогда раньше не было, т.-е. когда они по этим огородам ходили в церковь. Наконец, он решил выйти на улицу и повернул на какую-то тропинку.

Внезапные крики послышались между двумя белыми амбарами. Он увидел пыльных черномазых ребятишек, которые показывали дули Лукерье, ковылявшей по огородам со своею клюкою. Они что-то

кричали ей по-украински. Среди непонятных слов Степан Андреевич различил однако припев: „красные губки, драные юбки“. Один из мальчиков подбежал к Лукерье сзади и сильно дернул ее за подол. Послышался треск, и кусок гнилых лохмотьев остался у него в руках. Лукерья вдруг обернулась и клюкою ударила мальчика прямо по зубам. Крик негодования раздался кругом... Мальчик, которого ударила убогая, ринулся вдруг, как звереныш, сшиб ее с ног и что-то закричал другим мальчикам. Они мгновенно распластали Лукерью лицом в грядку и, задрав ей лохмотья, принялись хлестать крапивою, громко выкрикивая непристойное слово, которое в переводе на язык пристойности означает женщину легкого поведения.

Степан Андреевич был подвержен приступам благородного негодования и давал волю этому негодованию главным образом в тех случаях, когда мог сделать это без особого для себя ущерба. Он сразу учел силы свои и силы мальчиков и, кинувшись на гнусную группу, расшвырял ее, как котят, и помог встать Лукерье... Поднял ей клюку, мешок и оторванный кусок подола. Правда, сделал он это все с осторожностью, ибо уж очень грязна была его protegée. Мальчики хохотали, выглядывая из-за угла. Лукерья плакала навзрыд, но тихо, страшно кривя свою свихнутую челюсть. Степан Андреевич вдруг ясно представил себе, как

хрустела эта челюсть, зацепляясь за баклажанские булжники... и (странно) отошел с некоторым отвращением.

— Они вас больше не тронут, — сказал Степан Андреевич уверенно. — Но идите лучше на улицу.

Лукерья, плача, кивнула головой, и в этом кивке было что-то женственное, жалкое, робкое... должно быть, так кивала она, когда страшный любовник приказывал ей достать самогону. Она встала затем и покорно пошла, нескладно волоча одну ногу.

Степан Андреевич грозно посмотрел на хохочущих мальчишек, и все рожи мгновенно исчезли. Он страхнул с коленки пыль и пошел дальше по тропинке. Шел, шел и опять уперся в плетень.

Тут уже он остановился в полном недоумении, наконец, решил повернуть обратно.

— Сюды, сюды, — послышался голос, — сюды, пан.

Девчонка в пестром платье, запыхавшись, взволнованно, бежала за ним.

— От сюды, сюды, пан...

Она указывала пальчиком на какой-то белый домик, из трубы которого клубами валил черный дым.

Степан Андреевич поглядел на окно домика и вдруг испытал чувство человека, увидевшего под ногами змею. Мурашки пробежали у него по спине.

Из окна пристально глядел на него... труп Бороновского. Впрочем, труп этот вдруг пошевелился и исчез внезапно, как Мефистофель в тумане.

— Сюды, сюды, — бормотала настойчиво девочка, — сюды, пан.

Степан Андреевич с некоторым удивлением последовал за ней.

Он вошел в светлые сени.

— Це живет пан Бороновский, — сказала девочка, приотворяя дверь.

— Да, да, — послышался хриплый голос.

В большом кресле, обложенный подушками, сидел Бороновский, пытаясь любезно улыбнуться и как-то странно, словно с жадностью, смотря на гостя. Он дрожал, как в лихорадке, поминутно утирая платочком лоб.

— Меня, действительно, трудно найти, — сказал он, — я увидал, как вы стоите и озираетесь... Хорошо, что была тут Галька... я уж ее послал... А сам я даже крикнуть не способен... Подошел бы к окну и... упал... Ужасная слабость...

— Да, здесь такая путаница в этих закоулках, — сказал Степан Андреевич, не совсем уясняя себе, в чем дело.

— Спасибо вам... спасибо вам, что навестили... Сейчас зайдет еще Андрей Петрович... это наш доктор, старинный баклажанец... Фамилия его Шторов, отличный врач и человек в высшей степени

гуманный... Он имеет доброту меня сейчас пользоваться, что при моих малых средствах является истинным благодеянием с его стороны... Хотя я стараюсь отплатить ему книгами... У меня все, что осталось — это книги... Вон там в углу шкапчик... Есть очень хорошие сочинения, не говоря уже о классиках, которые представлены полностью... У Шеллера-Михайлова только не хватает пятого тома, зачитал один агроном... и не по своей вине... убит он был очень зверским образом... А доктор наш — большой любитель чтения... Есть еще по-немецки Гете и Шиллер... Гейне я продал... он слишком насмешлив... Всегда начинается у него так высоко, а в конце обязательно осмеет все... чувство... и так это тяжело... Есть Золя и Гюи де Мопассан... их многие считают неприличными писателями, а, по-моему, они очень верно пишут... Иногда фривольно... но это уж французская черточка... Еще вот Альфонс Додэ... „Письма с мельни...“

Бороновский вдруг ухватился за ручки кресла и странно хрюкнул.

— Вы не так много говорите, — посоветовал Степан Андреевич.

Тот кивнул головой и выдавил улыбку.

— Лучше вы говорите, — прошептал он, — скажите, вы сами обо мне вспомнили, или... Вера Александровна была так добра, что просила вас?

Он остановился и затрясся, ожидая ответа.

— Вера Александровна тоже говорила...

— Что же она говорила?..

— Она удивлялась, что вы к нам не заходите...

Бороновский выразил при этом какое-то радостное недоумение.

— Она удивлялась? Как же она удивлялась?

— Говорила: „что-то Петр Павлович к нам давно не заходил“.

— В самом деле!..

— Seriously...

„Если она этого и не говорила,— подумал при этом Степан Андреевич,— то могла ведь сказать“.

— Вы передайте ей от меня привет и скажите, чтоб она на меня не сердилась... дело в том, что у нее могут быть причины на меня сердиться.

Дверь в комнату вдруг распахнулась.*

Вошел небольшого роста плотный и уже пожилой человек в люстриновом потертом пиджаке и в соломенной фуражке. Он был красен красным загаром, оттенявшим его седые усы.

— Вот, — проговорил Бороновский с некоторым страхом, — это доктор Андрей Петрович, а это... Кошелев, Степан Андреевич... племянник Екатерины Сергеевны.

— Очень приятно-с...

Доктор хмуро оглядел комнату, потом подошел к Бороновскому и, глядя в пол, принялся щупать его пульс...

— Гробовщика в гости позовите, чайку попить... чтоб гроб получше сделал, — грубо сказал он вдруг.

Бороновский смущенно поглядел на Степана Андреевича, словно хотел сказать: „ведь вот — он всегда так, а между тем гуманнейший человек“.

— Небось, вставали сегодня? Сознайтесь, вставали?

— Только к окну... вот их...

— Ну, и подышайте, мне наплевать!..

— Андрей Петрович, голубчик...

— Сами лечиться хотите, извольте-с... Мне хлопот меньше... Сволочь вы эдакая, ведь вам же нельзя двигаться... и разговаривать нельзя...

— Я разве разговариваю?

— Гостей принимаете... Вы бы салон открыли... Подумаешь... мадам Рекамье.

— Я просто так зашел, — пробормотал Степан Андреевич.

— Да, вот вы просто так заходите, а человек из-за этого может околеть тут же, на месте... Нельзя ему говорить, понимаете, нельзя... Вы должны, если, конечно, добра ему хотите, кулак вот так держать у него перед пастью... Скажет слово — по зубам...

— Андрей Пет...

— Цыц!.. Ей-богу, ударю... Скотина какая!.. Одного легкого совсем нет, от другого осталась дыра с каемочкой, а он все философствует... Душа,

мой... бессмертье... Галиматью-то свою разводит... Лопух, лопух вырастет, — и на том скажите спасибо матушке-природе. А я тот лопух сорву и буду от мух отмахиваться... Понимаете?.. А я умру — другой будет моим лопухом. Вот тебе и мировая эволюция... Ну, дыхните-ка...

Он приложил ухо к груди Бороновского.

Степан Андреевич кивнул головой и на цыпочках направился к двери.

Бороновский тоже кивнул.

— Не болтай головой... Еще вздохни... Скажи: раз, два, три...

Степан Андреевич вышел во двор.

Теперь уже прямо по улице направился он к дому священника.

И — странно. Опять у дома стоял фаэтон Быковского, но на этот раз выносили из дома корзину!

„Неужели уезжают, — подумал он. — О, счастье!“

Ему уже ясно представилось мелодраматическое объяснение в светленькой, чистенькой комнатке. Вероятно, будут сопротивления, а потом и слезы, но в середине произойдет нечто, что заставит забыть и сопротивления и примирит со слезами. О, счастье!

Опять на крыльце четверо целовали одну, но поразило то, что эта одна была в шляпке и в пальто, а остальные все в самом домашнем: инженер в толстовке, Софья и девицы в шитых рубашках.

Ах!

Фаэтон с дребезгом покатиł по булыжнику. Попадья покатила. Куда?

Степана Андреевича провожавшие (только провожавшие) заметили. Надо было итти по намеченному направлению, то-есть к ним. Девицы кусали губы и медленно багровели. Софья щурилась и улыбалась. Инженер кроил идиотскую харю.

— Здравствуйте! — сказал нарочито развязно Степан Андреевич. — Куда это Пелагея Ивановна поехала?

— В Харьков, можете вообразить, — отвечала Софья.

— Тоска по мужу, — подтвердил инженер.

Девицы взвизгнули и, теряя веревочные туфли, ринулись в дом. Слышно было, как там они вопили от хохота.

Степан Андреевич против воли покраснел.

— Заходите, — сказала Софья, — вы в трилистник играете?

— Спасибо... Я собственно гуляю...

— Не пойти ли купануться... а, Софи? Фи готофи?

Степан Андреевич вышел в степь.

Вдали над черной дорогой стояло легкое облачко черной пыли.

Небо было ясное, синее.

Он оглядел весь этот чудесный пьянящий мир и со вкусом сказал:

— Дура!

ХІ.

ДОН КИХОТ НОМЕР ПЕРВЫЙ.

Дни потекли опять однообразно и каждый день разбивался так: утром купание с инженером, потом завтрак, потом спать, потом обедать, потом рассказывать про Москву и слушать рассказы про петлюровщину, махновщину и добровольщину. В тишине августовского вечера однозвучно лилась тетушкина речь.

— ...и тогда они ему кожу всю состругали рубанками и он, конечно, через три дня от гангрены умер. А еще был у нас картузник Засыпка, так ему живот разрезали и кишками к дереву привязали. Ну, он, конечно, и часу не прожил... А картузы делал такие, что гвардейцы ему из Петербурга заказы присылали...

Вера в это время уже не шила. Было темно. Розовый сумрак тихо надвигался на дом и на сад. Тускнели деревья.

— А я вчера в комнате тарантула убила, — сказала Вера.

— Да что ты? Знаешь, Степа, что это значит?

— Нет. Понятия не имею.

— А это значит, что лето кончается... Тарантул в доме тепла ищет. И чувствуешь, уже свежо становится к вечеру.

Стемнело довольно рано, и Степан Андреевич пошел спать. Делать было решительно нечего.

Перед сном, однако, он прошелся по саду и внизу возле самого забора увидел вдруг темную человеческую фигуру. Он вздрогнул по привычке: привык за революционное время бояться незнакомых. Однако тотчас узнал доктора Штрова.

— Мое почтение, — сказал тот не слишком как-то любезно, — очень рад, что на вас наткнулся. Я-то именно к вам... Дело вот в чем. Бороновскому этому как-то пришел. Поддыхает.

— Да что вы говорите?

— А вот — то самое, что говорю. Да-с. И он, понимаете, на стену лезет... Желает знать, не передаст ли ему чего... эта ст... сестра ваша двоюродная... Жить ему остался кошкин хвост. Я бы не пошел такие сантименты разводить. Да жаль его... чтоб его чорт подрал. Скажите ей, что, мол, он умрет вот сейчас... больше ничего...

— А вы сами...

— Н-нет... я с ней не разговариваю... Извините... Только надо торопиться.

Степан Андреевич заробел (таких людей опасался) и пошел наверх, к дому.

— Вера, вы не легли? — спросил он, подойдя к ее окну.

Ответ был дан не сразу.

Из соседнего окна высунулось искаженное ужасом лицо тетушки.

— Тсс... шш, — шипела она, — Вера молится.

Но Вера вдруг резко подошла к окну.

— Не суйтесь, мама, не в свое дело! Вы меня, Степа?

— Да... дело в том, что Бороновский умирает...

— А...

Она сказала „а“ совершенно равнодушно.

— Почему вы знаете?

— Там... доктор Шторов...

— Жаль... да ведь этого надо было ожидать...

— Я сейчас к нему пойду... вам... ничего не надо передать ему?

— Что же передать... поклон умирающему неудобно передавать.

И она беззвучно, сделав злые глаза, расхохоталась.

— Верочка, — робко раздалось в глубине комнаты, — ты бы сходила к нему.

Но Вера даже не удостоила ответом.

— Лучше всего скажите ему, что я уже спала, и вы меня не видали...

— Хорошо.

Степан Андреевич сошел вниз, спотыкаясь на бугры и рытвины.

— Ну? — окликнул доктор из мрака.

— Ничего не велела передать.

— Ничего? Ах...

После этого крепкого изъяснения наступила тишина.

— Слушайте, — вдруг глухим голосом, заговорил доктор, — если вы не такой же, как эта ваша бисова родственница, сделайте великое дело. Пойдите к нему... обманите его... скажите, что она ему велела... ну, хоть, — я не знаю, вот этот цветок передать... Нельзя же так... Ведь человек же в самом деле...

Степан Андреевич нерешительно взял цветочек.

— Пойдемте... Я боюсь только... что...

— Она не узнает, а он все равно через час сдохнет... Да последние-то секунды зачем человеку отравлять? Нельзя же, господа, ведь человек все-таки... Собаку и то жаль... Ах, стерва! Подлая стерва!

Сквозь разрушенный забор они вышли на дорогу и пошли мимо левады темных пирамидальных тополей.

— Мы вот сейчас тут через Зверчука, — бормотал доктор, — о, чорт бы побрал эту гору!.. Одышка...

Но они, не останавливаясь, прошли темными дворами и как-то сразу очутились у крыльца Броновского.

Галька сидела на пороге и глядела на звезды.

— Жив пан? — спросил доктор сердито.

— А як же, — отвечала та с глуповатой улыбкой, — нехай жив буде.

Они вошли в темные сени и потом в совершенно темную комнату, где правильно и ритмично работала какая-то пила:

— Хыпъ, хыпъ...

Степан Андреевич не сразу понял, что это хрипел умирающий.

— А, бісова дітина, — сказал доктор, — и огня не могла зажечь.

Он чиркнул спичкой и зажег маленькую горелку — фитиль, втиснутый в пузырек с керосином.

Степан Андреевич не приготовился к ожидавшему его зрелищу лица умирающего, а потому затрепетал.

— Хорош? — спросил доктор, криво усмехаясь. — Уж и не философствует.

Он взял полумертвеца за руку.

Открылись медленно страшные глаза. Молча.

Доктор обернулся на Степана Андреевича.

— Ну, вы, говорите.

Степан Андреевич не знал, есть ли у него сейчас в горле голос. Он только кашлянул.

— Вот это, — пробормотал он, протягивая цветок, — Вера Александровна... велела прислать вам.

— Кладите на грудь, — шепнул доктор.

С трудом опустились глаза, неподвижно установились на цветок, и — странно было это видеть —

счастливая улыбка передернула губы, и все лицо медленно переделалось из страшного в радостное, в спокойное, в умиленное. И теперь уже не страшно, а приятно было смотреть на него.

Но, должно быть, слишком тяжел оказался маленький цветочек для этой жалкой груди, ибо под ним перестало биться сердце.

В комнате стало вдруг совсем тихо, и тишина эта не прерывалась очень долго, и за окном тоже молчал весь ночной мир.

— Есть! — наконец прохрипел доктор. — Го... го...

Он, должно быть, хотел сказать „готов“, но куда-то внутрь провалился конец слова.

— Галька! — вдруг гаркнул он. — Ты куды провалилась... Ходи... Пан твой помер.

Но уже какие-то молодичи и старухи молча толпились в сенях и на крыльце.

— Идемте, — сказал доктор, — тут им займутся. Охотников много снаряжать покойников на тот свет... Душно здесь...

Он с минуту поколебался, потом взял с груди мертвеца цветок и выбросил его в окно.

Они пошли по темной улице.

Они не сговаривались итти вместе, однако, оба пошли по одному и тому же направлению, оба пересекли базарную площадь, прошли мимо собора, вышли в степь и взобрались на высокий обрыв, где оба сели и молча стали созерцать огромный

торжественный небосвод. Звезды сверкали неподвижно, и только время от времени какая-нибудь звезда огненной змейкой прорезала пространство.

— Да, — сказал доктор, — умер наш до нКи-хот баклажанский.

Они помолчали.

— Вы что, сестрицу свою очень любите?

— Да я ее плохо знаю... Всю жизнь провели в разных городах. Я в Москве, она то здесь, то в Киеве.

— Ага... Так, так... Гнуснейшая, простите меня, тварь. То-есть это, конечно, с моей субъективной точки зрения. Жестокая девушка. Разве это не гнусность?

— А вы ее хорошо знаете?

— Еще бы. Ведь я почти всю жизнь в этой помойке жил...

Он кивнул на спящие Баклажаны.

— Я помню, как покойный Александр Петрович сюда приехал еще безусеньким таким следователишкой. И Екатерину Сергеевну сюда привез... Я ее тогда мысленно так прозвал: ангел в нужнике. Ведь Баклажаны есть не что иное, как гигантских размеров нужник... О, проклятые!.. Екатерина Сергеевна была, знаете ли, женщина очень тихая и кроткая и дочери своей, Вере вот этой самой, все отдала... Дочь теперь в благодарность ее по щекам

бьет, когда та ей молиться мешает... Ну, да уж я знаю, не протестуйте... Врать не буду. Александр Петрович был человек простой, но честный и умный... по-своему умный, конечно. Мечтал он, знаете, об уюте эдаком семейном, чтоб в долгие осенние вечера в своем этом домике за самоварчиком посиживать и дочку на коленке качать. Вы знаете, ему место предлагали в столице. Один родственник о нем с министром Муравьевым говорил, и Муравьев его телеграммой вызвал и предложил место в сенате. А тот, знаете, что ответил: „Ваше превосходительство, у меня там садик... уж позвольте мне в Баклажанах остаться“. Министр, конечно, только, очевидно, плечами пожал... Что тут ответить?

А он себе идеал жизни составил — не собьешь. И нашпарился он, долбжу я вам, на этом идеале. Дочка ему с пяти лет истерики стала закатывать, да какие... Чуть что ей наперекор, она хватъ об пол всю посуду и орет на все Баклажаны: „папка, чорт, поросенок!“ Это пятилетний-то ангелочек! Мило? Можете себе представить, что стало годам эдак к шестнадцати. Девка здоровая, прет из нее сила, девать ее некуда, — так что она тут раздевалась. Отцу один раз лицо в кровь расколотила, а уж мать... Екатерина Сергеевна просто мученица — в буквальном смысле этого слова... Я удивляюсь, как она жива до сих пор...

Да... Конечно, сестрице вашей следовало бы замуж вытти, да ее тут все женихи наши, как огня, боялись... молодежь у нас была смиренная. А она только ходит, фыркает: этот дурак, тот болван, третий пошляк. Срамила их при всем обществе. Молодой человек к ней с чувствами (ею многие увлекались), а она ему цитату из Гете там или из Байрона. А тот их и не читал никогда... А она его на смех... Сама никого не любила... Постепенно все поклонники от нее отстали, кроме вот этого самого Бороновского. Он уж ей и стихи писал, и книги дарил, и на коленях руки ее выпрашивал. Она, конечно, наотрез. Идиотом его, правда, не ругала, а поклонение его принимала вполне равнодушно.

Александр Петрович, слава богу, до главного безобразия не дожил. Умер он еще при Скоропадском. Последнее время страшно и жалко было на него смотреть. Несчастненький такой ходил. Все идеалы жизненные пошли псу под хвост. Шутка ли... После его смерти начался кавардак. Петлюра, Махно... пошла потеха. Появился тогда тут некий атаман Степан Купалов... Кто он был, чорт его знает... Бандит, конечно, форменный. Гарцовал тут на белом коне и жидов нагайкой постегивал. Увидал он Веру на базаре и ей воздушный поцелуй послал. И она, можете себе представить, в дьявола этого втюрилась. То-есть,

конечно, виду она не показывала, а все заметили, как восторженно она про него отзывалась. И красавец, и храбрец, и все, что хотите.

Вот раз в самый разгар махновщины зимой, крепкий был мороз, вкатывается на двор к Кошелевым пьяная казачья ватага. Вера была тогда на дворе и в сарай спряталась. Случился тут и Бороновский. Казаки к нему... а впереди всех Степан Купалов. „Где дівчина?“ „Не знаю“. „Бре-шешь. Я за ней приехал. Говори, где“. Тот: „не знаю и не знаю...“ „А, не знаешь...“ Моментально раздели его догола и к колодцу. Градусов было тогда пятнадцать морозу. И давай они его из ведра окачивать. Окачивают и нагайками лупят. „Говори, где!“ — Не сказал. А тут кругом пальба. Мешкать было нельзя. Закопали они его голого в снег и ускакали. Ну, конечно, гнойный плеврит с двух сторон... Ребра ему вырезали... И с тех пор зачах... А она, изволите ли видеть, на него злобу затаила. Сама она, конечно, выйти к бандитам не решилась из гордости, а если бы он на ее засаду указал, так, видно, была бы она этому очень рада. А потом Степан Купалов этот с Лукерьей спутался... Тут есть такая нищенка. Тогда-то она была, положим, не нищенка... резвая была бабенка... уж он ее шпынял... Ну, да не о ней речь... Так вот Вера эта, сестра ваша, на своего защитника лютейшую злобу затаила и ту злобу никак

открыто проявить не могла... Ну, уж зато она его помучила... Один раз только ему всю правду выложила... он мне признался... Отпалила и в истерику... А он, дон Кихот, вместо того, чтоб плюнуть ей в харю, на коленях за ней ползал, подол ей целовал. Тьфу! Мразь какая! Верите, иной раз говоришь с ним, а кулаки так и чешутся и сами к морде его подбираются... Слюнтяй!.. И поделом она его мучила. Так ему, размазне, и нужно. Эх, жалею даже, что ему этот бенефис напоследок устроил с подношением цветов. Надо было бы его до конца довести. Всю ее мерзость ему доказать. Стерва! Стерва!

Доктор отчаянно махнул рукой на Баклажаны.

— И зачем все это существует? — воскликнул он чуть не со слезами в голосе. — Какого чорта свинячьего?

Они помолчали. Потом оба вместе поднялись и пошли домой.

Степан Андреевич не мог да и не хотел как-то спать.

Восемь лет, с самого того момента, как пшено заменило собою почти всякую другую снедь, не думал Степан Андреевич на отвлеченные темы, никаких философских проблем не разрешал, ни о какой стройности в своем мирозерцании не заботился. И теперь все такие мысли вдруг, как

сорвавшись с цепи, ринулись в его голову и мгновенно завладели обоими полушариями, не заботясь о том, что голова при этом основательно затрещала. Степан Андреевич постарался представить себя умирающим... Не хотел бы он посмотреть на себя в гробу. А на Бороновского мертвого смотреть было просто приятно. Он опять разозлился на Баклажаны. Какой, подумаешь, рассадник дон Кихотов и Абеяров. И, схватившись за голову, заставил он себя ясно вспомнить московскую жизнь, кутежи с поцелуями, ни к чему не обязывающими, рисование, требующее только одной техники, получение гонорара, требующее лишь терпения... Может быть, в этом истинная мудрость? Но опять вспомнилось счастливое мертвое лицо. И пришла в голову пошлая мысль: а, может быть, такое лицо будет и у него, если... положат ему перед смертью на грудь новенькую, не вскрытую пачку червонцев --- сто штук...

И мысль эта заставила его улыбнуться. Приятно было, в самом деле, представлять себе такую пачку... Он уснул.

ХII.

ДОН КИХОТ НОМЕР ВТОРОЙ.

В день похорон Бороновского было прохладно и шел мелкий дождик. Очевидно, тарантул угадал правильно, переменяв квартиру. Что на новой

квартире его убьют, он, разумеется, не мог предвидеть. Тарантул рассуждал теоретически.

Хотя Бороновский был человек бедный, почти нищий, хоронили его торжественно. Заупокойную служил сам владыко, соборне, и среди других священников был и отец Владимир. Значит, вернулся. Интересно, вернулась ли попадья.

Софья и ее сестры стояли в церкви, красные, с заплаканными глазами, обильно проливая слезы и кланяясь в землю. Инженер был как-то смущен и робок с виду. Вера молилась, по обыкновению, самозабвенно, иногда лишь с неудовольствием оглядываясь на мать, которую мучил жесточайший сухой кашель.

Кладбище в Баклажанах было неудобное, степное, всего с четырьмя деревьями (белыми акациями) по углам. Итти туда приходилось по раскисшей черноземной горе, скользкой и утомительно крутой.

Степан Андреевич слышал, как спросила Екатерина Сергеевна отца Владимира: „А где же Пелагея Ивановна?“ На что тот ответил: „Осталась в Харькове, у Анны Павлиновны“.

Дома молча завтракали.

Екатерина Сергеевна словно боялась говорить об умершем и только поглядывала на Веру.

Степан Андреевич тоже не заговаривал. Он с некоторым страхом поглядывал на величественную красавицу. Должно быть, в самом деле хорош был Степан Купалов.

Марья, подавая кабачки, шмыгала носом. На ее лице слезы оставили грязные полосы.

— Добрый пан бул, — сказала она, — джже жалко пана. О-ох!

— Марья, — сказала Вера, — вы бы не могли как-нибудь хоть для смеха руки помыть?

— Та я ж мыла...

— Врете, Марья.

— „Врете, врете“. А ну вас совсем!

Вера вскочила, бледная, как смерть, кинулась и страшно толкнула старуху в спину.

Та, хрюкнув, прыгнула вперед и упала лицом на угол стола.

Она так и осталась стоять на коленях, опираясь о стол лицом, и вся затряслась от рыданий.

У Степана Андреевича вдруг странным образом перевернулось сердце, и вся кровь отхлынула от лица.

— Вы не смеете ее бить, — заорал он, — это подло! Это хамство какое-то!.. Еще называется культурная женщина!

Он умолк, ибо задыхался, и ноги у него почти отнялись.

— Мама, — спокойно сказала Вера, — налейте Степе воды... и еще лучше накапайте валерьяновки.

Но Екатерина Сергеевна не могла ничего сказать, не могла ничего сделать. Она рыдала,

рыдала, безутешно рыдала, положив на руки свою седенькую маленькую головку.

Степан Андреевич встал и, махнув рукой, вышел.

„Вот еще идиотская история“, — подумал он. И он вспомнил тот крик, который так долго обдумывал и которым должен был разразиться под обелиском, став лицом к бывшей гауптвахте. И он понял, что того крика никогда не будет, ибо и теперь уже было ему до физической боли чего-то страшно. „Ну их всех к дьяволу“, — думал он и пошел неизвестно куда... просто вдоль по улице.

О странных вещах мечтал он.

„Хорошо бы, если бы все это произошло в Москве, и Марья пожаловалась бы в профсоюз. Пожалуй, посидела бы с полгодика эта чертова кукла. Сволочь эдакая! Несчастливая тетушка! Вот уж, действительно, мученица. Нет, я вполне понимаю и сочувствую доктору. Гнусность какая“.

— Господин Кошелев, — окликнул его кто-то.

Он вздрогнул.

Отец Владимир стоял на пороге своего дома и любезно предлагал зайти.

— Мне с вами... кхе, кхе, переговорить хотелось...

Степан Андреевич с легкой дрожью вошел в дом. Дом был пуст.

— Они все у Змогинских, а Пелагея в Харькове... Милости прошу. Вот сюды.

Степан Андреевич сел в кресло. Замер, только смутно предполагая, о чем будет речь.

— Я, знаете, — произнес отец Владимир, — человек простой и бесхитростный. Я прямо подойду... Пелагея мне... все объявила...

Он отвернулся, чтобы не видеть смущения гостя.

— Я... простите... я опять так сразу. Вы человек образованный, стало быть, честный... Вы мне прямо скажите... Коли любите ее, я...

Он помолчал.

— Она вас словно бы и любит... Да, так вот. Коли вы ее любите, берите ее с собою в Москву... Она молодой цветок, весенний, ей не след в Баклажанах себя хоронить... да и я ей малая утеха... Сами знаете, либо богу служить, либо жене... ну, уж я богу служу... И сан мой меня к тому обязывает... Я смотрю широко... Смеяться надо мною тут будут, так ведь это мне не помеха... чтобы ее счастье сделать... и ваше... простите, не упомяну имени вашего и отчества.

— Степан Андреевич.

— Степан Андреевич... Я уже ошибку сделал тогда по молодости лет, на ней женился, и бог нашего брака не благословил. Детишек нам не дал... Будь, конечно, детки, я бы вас просто, как благородного человека, просил уехать отсюда, покоя ее не смущать... А теперь... хоть и связаны

мы перед алтарем... ну, да я ее грех замолю... Да... вот-с... А она-то вас как бы очень любит, и любовь-то эта ее больше всего и страшит... Я сказал ей: дурочка, чего трепещешь... Коли он тебя любит, а человек он образованный, стало быть, честный, ну, поедешь с ним в Москву... там кипучую жизнь познаешь... А мне в Баклажанах самая лучшая жизнь... Тише здесь. Голос-то божий тут слышнее... Я и говорю...

Он снова повторил все сказанное, очевидно, стараясь оттянуть от гостя тягостную минуту ответа... Но, наконец, он сказал все; пришлось умолкнуть.

— Батюшка, — проговорил Степан Андреевич, быстро вставая, — простите меня. Я низкий негодяй перед вами... Я уеду на-днях в Москву... Это все результат моей московской распущенности... Простите.

Он быстро вышел из дома, и никто его не остановил.

И он был страшно зол, ибо давно еще философ сказал, что неприятно человеку чувствовать себя побитой собакой.

„Нет, к чорту! Дура! Из-за одного поцелуя заплести такую ахинею. Да пустить бы ее на любой московский вечер с водкой... ей бы показали, как целуются при дворе шаха персидского... А он-то... что он, ребенок, что ли, пятилетний...

Неужели он воображает, что без любви и потискать нельзя его попадью? К чорту!»

Подходя к дому, он оробел, ибо вспомнил, что, очевидно, предстоит объяснение с Верой. Но все равно. Не шататься же сутки по паршивому этому городишке.

Посреди двора, сложив на животе ручки, стояла и, должно быть, его ждала тетушка Екатерина Сергеевна, и вид она имела самый умиленный и успокоительный.

— Ничего, — сказала она тихо, — Вера помолилась, а Марья у нее прощенья попросила... и Вера ничего.

— То-есть не Марья у Веры, а Вера у Марьи.

— Именно Марья у Веры, — с легкой досадой отвечала тетушка, — какой ты, Степа, странный... Ведь Марья ж наврала. Она ж рук не помыла. Нельзя же всякое вранье терпеть.

Степан Андреевич уже не возражал.

К вечернему чаю Вера вышла, как всегда, величавая, улыбаясь слегка насмешливо.

— А вы, Степа, в самом деле большевик, — сказала она, садясь за стол. — Вот попробуйте кавуна.

Степан Андреевич ел кавун и молчал. Он решительно не ощущал себя, потерял, так сказать, точку касания с миром, иначе говоря: утратил вдруг совершенно классовое самосознание.

ХІІІ.

ШУТКА АМУРА. СТРАХ.

Степан Андреевич решил уезжать в Москву. Он сидел на террасе с тетушкой Екатериной Сергеевной и лениво пережевывал разговор о поездах.

— Дьякон уверяет, — говорила тетушка, — что поезда ходят по средам и по пятницам, а Марья Ниловны племянница говорила, что по вторникам и субботам... А Розенбах сказал вчера, будто по воскресеньям и четвергам.

— А Быковский что говорит?

— Быковскому все равно, он тебя хоть сейчас повезет.

— Ну, а расписания разве нет?

— Откуда же расписание. На станцию ехать, так это двенадцать верст.

— Как-нибудь уеду.

В это время через террасу прошла, слегка поклонившись Екатерине Сергеевне, маленькая, худенькая, очень хорошенькая еврейка.

— Это кто же такая? — спросил Степан Андреевич, проводив ее любопытным взглядом.

— Верина заказчица — жидовка. Помнишь, ты ей платье носил...

— А...

Степан Андреевич вздрогнул. „Вот она какая“.

— Знаете,— сказал он вдруг,— я сейчас, только за папиросами сбегаю.

— Много куришь. Вредно. Никотин.

— Ничего.

Он быстро сбежал в сад, вышел за ворота и погнался за еврейкой.

Она медленно шла по кирпичному тротуару, и издали уже можно было заметить, какие стройные у нее ножки.

Услыхав быстрые шаги преследователя, она оглянулась, сразу смущенно съежилась и продолжала идти, но уже с таким видом, словно ожидала пули в спину.

— Мы, кажется, с вами немножко знакомы,— приветливо и даже сладко сказал Степан Андреевич.— Или я, быть может, ошибаюсь?

Она исподлобья поглядела на него пудовым взглядом.

— Нет, вы не ошибаетесь.

— Это вы мне писали?

— Да... это я вам писала.

— Я был бы очень счастлив возобновить с вами знакомство.

Еврейка покачала головой.

— Когда я вам писала, я была как газель. Я только скакала и прыгала и влюблялась в интересных людей...

— Вы и теперь очень похожи на газель.

— Нет, я теперь мертвая. Когда у человека несчастье, он не может любить.

— Какое же у вас несчастье?..

— Это вам не надо вовсе знать.

— А по-моему в несчастьи-то и любить...
Любовь утешает...

Еврейка ничего не ответила и продолжала идти.

Степан Андреевич почувствовал в себе приятное закипание страсти.

— Мы бы с вами сумели забыть всякое несчастье.

— Мое несчастье нельзя забыть.

— Во всяком случае, — вкрадчиво и настойчиво сказал Степан Андреевич, — я вас буду ждать сегодня вечером в нижней части сада. Часов в одиннадцать. Хорошо?

Она еще больше съежилась и пошла торопливо.

Степан Андреевич поклонился и повернул обратно.

„Эта стоит поады, — думал он. — Да. Я еще молод. Поживем. Поживем“.

* * *

Вечер выдался ясный, но очень холодный, и Степан Андреевич, стоя во мраке у забора, мерз, хотя был в пальто, накинутом прямо на рубашку.

Его пробирала мелкая дрожь, он зевал от холода и злился, полагая, что пришел напрасно. Он боялся простудиться.

Однако хрустнули ветки, и темная тень приблизилась к нему.

— О, какое счастье, что вы пришли!— пробормотал он, трясаясь, как в лихорадке.

Она взяла его за руки, и его поразило, до чего ее руки были горячи.

— Это позор, — прошептала она и, прислонившись лбом к яблоне, тихо заплакала.

— Полно! Полно! — бормотал он, — разве можно плакать в такие мгновения!

— О, зачем я пришла? У меня такое горе, а я пришла. Я должна плакать, всегда плакать и бежать от тех, кого мне хочется любить. Но у меня нет сил. Ой, какая я одинокая! Ой, какая я одинокая!

— Теперь вы не одиноки...

Но она вдруг перестала плакать и сказала неожиданно:

— Милый, я хочу, чтоб ты раздел пальто.

Отказать женщине в такой просьбе, да еще на любовном свидании, было невысказано. Поэтому он с ужасом снял пальто и сразу почувствовал, как ночной холод впился в его тело тысячью холодных булавок.

Она расстегнула ему рубашку и горячей рукой погладила его грудь. И тотчас со стоном ринулась

на него, впилаась зубами ему в шею, обвила его руками, ногами, так что он, не удержавшись, полетел прямо на холодную мокрую траву.

— Владей мною. Милый, владей мною,—шептала она, терзая его и, как вампир, впиваясь ему в губы.

— Сейчас, сию минуту,—бормотал он, щелкая зубами, а сам думал: „ну, воспаление легких обеспечено“.

— Скорей, скорей! — стонала она.

— Сейчас... зачем торопиться? Ожидание... бу... бу... бу... всего слаще.

— Я не могу ждать. Бери меня.

Он молчал, корчась от озноба.

Еврейка вдруг встала и отошла в сторону.

— Если вы бессильный, — произнесла она с презрением, — зачем вы меня звали?

— Уверяю вас... бу-бу-бу...

— Что мне ваши уверения... Я не совсем дура.

Он смущенно подбирался к пальто и надел его.

— Дорогая моя! Сокровище мое!

Он обнял ее с чувством прадедушки, обнимающего правнучку...

Она с некоторой надеждой страстно прильнула к нему.

Он старался вспомнить что-нибудь очень пикантное из своей жизни, но и воображение его застыло.

Еврейка с дикой злобой вдруг оттолкнула его и исчезла во мраке.

Степан Андреевич побежал к себе в комнату. Там было очень тепло, даже душно. „Обязательно простужусь“, — думал он.

За стеною Марья еще возилась с посудой. Он пошел к ней.

— Марья, чайку горячего нету? — спросил он, задыхаясь от злющей махорки.

— Остыв чай.

— Гулял я сейчас, очень холодно.

Марья лукаво и добродушно улыбнулась.

Затем она полезла под кровать и вытащила какую-то чудную восьмигранную бутылку. Из нее она налила в чашку какой-то прозрачной жидкости.

— Це добже чаю, — сказала она. — Пивайте.

Степан Андреевич выпил.

Глаза у него вылезли на лоб, дух захватило, но по жилам мгновенно разлилась приятная теплота.

А Марья, любуясь произведенным эффектом, сказала басом:

— Самогон.

И опять тщательно спрятала бутылку.

Степан Андреевич пошел к себе. Но прежде, чем закрыть последнюю ставню, он еще раз выглянул в темную, уже осеннюю ночь. Никакого не было сожаления о неудавшемся свидании. Неужели старость?

Где-то над рекою снова пел хор. Мирно тьякали на дворах неисчислимые баклажанские псы.

И вдруг — трах.

Выстрел. Недалекий выстрел.

И тотчас: трах, трах!

Второй и третий.

Мгновенно оборвалось пение. Бешено, надрываясь, залаяли теперь псы, во мраке почуявшие что-то знакомое. Басом загудели на кошелевском дворе старые собаки.

Степан Андреевич испугался и, томясь от одиночества, пошел опять в кухню.

Там на крыльце стояла уже тетушка, Вера и Марья. Все они прислушивались, наклонившись вперед, и Степану Андреевичу сделали предостерегающий жест. И он тоже замер, со страхом глядя на Екатерину Сергеевну. Но у той (странно!) лицо не выражало ни ужаса, ни удивления, она с загадочной улыбкою поглядывала на Степана Андреевича, словно говорила: „подожди, Степа, то ли еще будет. Узнаешь, какие наши Баклажаны“.

И вот вдали послышался бешеный лошадиный галоп. Страшно цокали по мостовой подковы в карьер несущегося коня.

— А ведь это по главной улице! — прошептала Вера.

И в то же время где-то уже близко раздался человеческий и в то же время нечеловеческий визг, пронзительный и страшный.

— Что это? — пробормотал Степан Андреевич.

— Это Лукерья, — спокойно сказала Вера. — Она где-нибудь здесь под забором ночевала. У нее бывают по ночам такие припадки, она же идиотка...

— Услыхала выстрелы и вспомнила... — начала было Екатерина Сергеевна, но осеклась.

Галоп между тем затих вдали.

— Знаешь, что, Марья, — сказала Екатерина Сергеевна, — надо бы ворота запереть, как „тогда“ запирали.

Степана Андреевича больно резнудо это „тогда“.

И Марья молча, как бы сознавая всю важность этого распоряжения, пошла к воротам.

— Но что это может означать? — спросил Степан Андреевич с чувством неопытного путешественника, ищущего поддержки у знающих все местных жителей.

— Кто ж знает! — сказала Екатерина Сергеевна. — Дело ночное. Ишь, собаки-то! Вспомнили!

И опять какая-то загадочно-умиленная улыбка осветила ее доброе старческое личико.

— Заперла, — серьезно сказала Марья, — дюже крепко.

И все молча разошлись.

Степан Андреевич тщательно запер ставни. Он лег, но не мог спать. То ли он в самом деле заболел воспалением легких, но какой-то кошмар навалился на него и свинцовым крылом придавил ему сердце.

Все те ужасы, о которых ему рассказывали и которые легкомысленно воспринимал он, как некое полусказочное прошлое, вдруг ожили и предстали перед ним в отвратительной действительности. Визг Лукерьи еще звучал в ушах. Он только сейчас ясно осознал, что испытала она, когда вот под такой же звонкий галоп билась о камни баклажанской мостовой.

Не думать! Нельзя думать!

Наступило ясное, свежее утро, но что-то навсегда утратилось в этой красоте зеленого и голубого.

На дворе шел оживленный разговор.

Зашел Зверчук, еще кто-то, какие-то две жінки.

— Вот видишь, Степа,— сказала Екатерина Сергеевна, улыбаясь,— оказывается, вчера ограбили и ранили нашего мельника Розенмана... Знали, что у него были деньги... Приехали верхом в масках. Он тревогу поднял, а они моментально за револьверы.

— У одного ружье было,— ввернул со смаком Зверчук.

— Уж, конечно, и ружья и револьверы. Ранили его в живот и деньги забрали.

— А милиция?

— Какая у нас милиция!

— Но их же наверное будут... стараться арестовать?

— Неизвестно, какая у них банда!

И все загадочно покосились на черневшую вдали степь.

Зверчук махнул рукой.

— Та не банда! Та просто грабильи!

— Ничего неизвестно.

Все с каким-то даже упреком поглядели на Зверчука, словно он разрушал какие-то приятные иллюзии.

— Вы думаете, просто воры? — с надеждою спросил Степан Андреевич, не в силах проникнуться прелестью этой романтики.

— А як же!

Степан Андреевич пошел на базар. Он хотел рассеяться. На улицах было по обыкновению пусто, но на базарной площади толпился народ среди желтых горшков, зеленых кавунов и красных баклажанов.

И все передавали друг другу свои впечатления и что испытали они, услышав ночью стрельбу. И на всех лицах было то же самое загадочное выражение, словно никто не верил, да и не хотел верить, что это просто так себе.

Еще неделю назад тому, бродя по этому базару, Степан Андреевич воображал себя на Сорочинской ярмарке и думал: „Вот прошло сто лет. Какая разница? Теперь даже еще как-то спокойнее: тогда были свиные рыла и красная святка“.

Но теперь он понял. Не свиные рыла, но что-то неизмеримо более страшное почувал он вдруг, и ясно представилась ему эта площадь с брошенными можарами и лотками, по которой скачут всадники в мохнатых шапках, и для этих всадников смерть человека есть лишь привычный взмах отточенной сабли. И страстно потянуло в милую Москву, где уже давно отжили все эти страхи, опять захотелось трамваев, автобусов, знакомой сутолоки.

Группы каких-то хуторян шептались между собою, но, когда подходил Степан Андреевич, умолкали. Москвич — надо опасаться. Степан Андреевич твердо решил: уезжать как можно скорее. Но он боялся проявить трусость и за завтраком сказал дипломатично:

— Такие у вас интересные события, а мне приходится ехать.

— Что ты, Степа,—воскликнула Екатерина Сергеевна,—да разве теперь можно ехать. Они ж будут теперь по дорогам грабить.

И Вера сказала:

— Да, ехать сейчас не советую.

Степан Андреевич почувствовал глубокую жуть. Оставаться в Баклажанах, с этими средневековыми людьми, кающимися из-за одного поцелуя и ненавидящими горемычных, имевших несчастье любить их — любить в самом деле больше жизни?

— Неужели нельзя ехать,—пробормотал он,—да у меня и деньги кончаются.

— Ну, с голоду не умрете, — сказала Вера, — а повременить надо. Неизвестно еще, во что это выльется.

После завтрака случилось чудо. Вера надела шляпу, пыльник и куда-то пошла. Этого ни разу не было еще при Степане Андреевиче. Ходила она только в церковь.

— Куда это Вера пошла?

Екатерина Сергеевна долго словно размышляла, сказать или нет. Но, должно быть, почувствовала, что если скажет, ей будет легче.

— Вера пошла к Розенманам, — прошептала она, — узнать, какой из себя был этот бандит... Да что она узнает, ведь он же был в маске!..

Степан Андреевич понял.

За обедом он искоса поглядел на Веру, но она была спокойна по обыкновению.

А слухи все росли и росли.

Каждый из соседей, приходивший на кухню за утюгом ли, за мясорубкой, непременно рассказывал что-нибудь новое. И все как-то стеснялись Степана Андреевича и при нем говорили:

— А пустяки! Жулики простые!

Но глаза их говорили совсем другое.

И ему было страшно.

К ночи все как-то притаились и чего-то ждали. Хора не было слышно над рекою.

Только псы заливались тревожно и грозно и, казалось, они чуяли.

Перед сном все опять собрались на крыльце и опять долго и томительно прислушивались.

— Что-то сейчас в степи!—сказала Екатерина Сергеевна, и видно было, что так привыкла говорить она по ночам в те страшные дни.

Марья хлопотала. Запирала ворота, вытащила из подвала какую-то болванку и завалила дверь. У нее был вид ремесленника, долго бывшего безработным или занимавшегося не своим делом. И вдруг посулили ему „его“ работу, и он радуется и сознает, что хорошо ее исполнит, и только боится, что не всерьез ему посулили...

Ночь началась спокойно. Только все тот же кошмар давил.

Уехать! Лишь бы уехать!

Внезапно был разбужен Степан Андреевич стуком в дверь.

Рассвета еще не видно было в щелях ставней.

— Кто там? — робко спросил он.

— Это я,— произнес голос Екатерины Сергеевны.— Степа, послушай. Как будто у нас в саду мужские голоса.

Степан Андреевич с тоскою накиннул пальто и зажег свечку.

Тетушка вошла, и попрежнему на лице ее не видно была страха.

Скорее опять какое-то странное торжество.

Прислушались.

— Я ничего не слышу,— сказал Степан Андреевич.

— Ну, должно быть, мне показалось... А все-таки выйдем. Задуй свечу. Нехорошо быть в свету.

Она храбро растворила дверь.

Было тихо. Ущербный месяц восходил над то- полями.

Должно быть, его встречая, провыла собака.

И вдруг опять резкий вопль прорезал уши.

Залаяли псы.

— Лукерья визжит,— сказала Екатерина Сергеевна,— как часто стали с ней припадки делаться.

— Ее бы хоть в больницу отвезли,— проговорил Степан Андреевич с раздражением,— ведь это всем должно на нервы действовать.

— Никому не охота с этой идиоткой возиться.

Степан Андреевич вздрогнул, ибо не заметил, как подошла Вера.

— Ну, идемте спать,— добавила она,— напрасно вы, мама, Степу подняли. Так сразу никогда не начинается.

— А помнишь Лещинский? Постреляли вот так же, а на другой день и пошло. Тогда, помню,

шла я утром к Змогинским. Гляжу, что-то черное на дороге, не разберешь, что. Только я подошла... Господи!.. Вороны так тучей и поднялись... и каркают... а на дороге труп лежит, и кто-то его обобрал... Ну, покойной ночи...

Степан Андреевич опять не спал. Мысли! Откуда их воробье принесло — мысли!

Утром он вышел с головною болью и вновь увидал на дворе маленькое общество. И все качали головами.

— Случилось что-нибудь?— спросил он робко.

— Вообрази, Степа,— отвечала тетушка,— Лукерья ночью в захарченской клуне удавилась. Это она, стало быть, перед этим так визжала. Вера пошла посмотреть.

В это время из сада тяжело вышла Марья, должно быть, тоже ходившая смотреть. Она шла, охая, и лицо ее изображало отвращение. Рукой отмерила она что-то у себя под подбородком. И все поняли: так был высунут язык у повесившейся.

— А больше никаких событий не было,— сказала тетушка,— должно быть, и вправду были жулики.

— Вот видите, стало быть, мне можно ехать.

— Конечно, можно!— воскликнул Зверчук и прибавил неожиданно:— поезда еще ходят!

В это время вернулась Вера.

— Ну, Степа,— сказала она спокойно,— больше Лукерья не будет вам нервов тревожить. Вообразите, мама, повесилась на той самой балке, где и сам Захарченко. Ну, ее не жалко. Идемте кофе пить.

XIV.

СВОЯ ТАРЕЛКА.

Несмотря на ранний час отъезда (поезд, как выяснилось, отходил в пятницу в семь утра), провожать Степана Андреевича встали и тетушка и Вера. Быковский укладывал в фэтон вещи. Тут же стояло и семейство Дьячко, так как Ромашко должен был сопровождать Степана Андреевича на станцию.

Поэтому тетушка, целуя Степана Андреевича, сквозь слезы шепнула ему: „Наблюдай за Ромашкой“.

Вера простилась спокойно, но дружелюбно.

Фэтон покати.

В степи было свежо и ясно. Далеко где-то стучала паровая молотилка. Мягко катился фэтон по накатанной черной дороге. Проезжая мимо какого-то хутора, Быковский задержал лошадей и указал кнутовищем на красивую, ровную, как шар, дикую грушу.

— На этой груше,—сказал он,—батько Махно четырех комиссаров повесил.

Ничего кругом не было страшного.

Но вот на дороге показалась неподвижная группа: два милиционера возле распластанного в пыли трупа.

— Чи? — спросил Быковский, задерживая лошадей.

Но милиционеры сердито крикнули:

— Тікай!

И только вслед послали с гордостью:

— Главного бандита убили. Воробей.

— Какой Воробей? — со страхом спросил Степан Андреевич у Быковского. Но тот почему-то ничего не ответил.

Станция была маленькая, степная.

На белом доме черными буквами написано было: „Баклажаны“.

Оживленно толковали пассажиры.

Степан Андреевич спросил дежурного по станции:

— Кого это убили?

— А вот Воробья — бандита. Он тут в Баклажанах мельника ограбил и ранил даже. Ну, у того денег много, он всю кременчугскую милицию поднял.

— А этот Воробей не Купалов?

Дежурный усмехнулся.

— Купалов в Екатеринославе служит в спілко приемщиком.

— Да что вы? Почему же мне никто об этом не говорил? Про него много рассказывали, а о том, что он служит... Где вы сказали?

— Спілка. Ну, кооператив. Да они все не верят. Им обидно, как это герой эдакий и вдруг — приемщиком... Ну, да будет время — покажет он свои приемы.

— А вы думаете, будет такое время?

— А як же!

Вдали рокотал поезд. Грозно шипя, надвинулся паровоз и потянулись пульмана, скрипя тормозами. И надписи: Ростов — Москва, Екатеринослав — Москва.

Москва! О, радость!

С юга ехало в Москву много всякого народу.

Степан Андреевич прислушивался к разговорам.

— Я продал им „Красноармейца Огурцова“ еще в двадцать третьем году весною. А потом нарочно не напоминал. Год прошел, а они только печатать собрались. Извините, договор истек. И вторично весь гонорар получил.

— Я лучше сделал... шу, шу, шу...

Шопота нельзя было расслышать.

— Ха, ха, ха. Ха, ха, ха. Вот, небось, рожу скорчили!

- А вы сейчас что пишете?
— Так, повесть одну. Из жизни углекопов.
— Под аванс?
— Ну, понятное дело.

* * *

- Гражданочка, коленки не застудите.
— Петька, по носу...
— Такое дивное существо — и вдруг такие угрозы...
— Ой, скорей, скорей!
— Что?
— Почешите лопатку... выше, левее...

* * *

— Уверяю вас, что если бы не было Станиславского, не было бы и Мейерхольда. Я вам могу по пальцам перечислить всю эволюцию от „Чайки“ к „Земле дыбом“.

— Я не спорю... Я вообще не люблю режиссеров... Но интересно, сколько Станиславский получает...

* * *

Степан Андреевич лежал на верхнем месте, слушал, отдыхал душою и думал о том, какой странный сон ему приснился: Баклажаны.

ЭПИЛОГ.

Была поздняя осень.

Степан Андреевич получил из Госиздата по-
вестку: „Явиться для получения денег“.

Когда он выходил из дому, швейцар подал ему
письмо со штемпелем: „Баклажаны“. Он сунул
письмо в карман и бодро побежал по гудящим и
звонящим улицам.

В Госиздате, став у кассы в очередь, он про-
чел письмо.

„Ну, как ты живешь, Степа,—писала тетушка,—
а мы тебя тут все вспоминаем. Слава богу, кое-как
перебиваемся, хотя работы у Веры сейчас меньше.
Заказчицам трудно добраться к нам по грязи.
У нас тут были разные случаи. Помнишь еврея
Львовича? Еще ты носил его дочери платье. Ока-
зывается, он летом продал одному мануфактуристу
Келлербаху все свои добрые дела. То-есть, значит,
если он совершил доброе дело, то зачтется оно не
ему, а Келлербаху. Продал за большие деньги,
чуть ли не за сто рублей. Это открылось, и
вышел ужасный скандал. А дочь его Зоя от стыда
исчезла. Вообрази, каково ей было, в самом
деле! Жаль ее, хоть она и жидовка. Напиши,
как ты“.

На миг ощутил Степан Андреевич в голове
знакомую баклажанскую неразбериху, но как раз

подошла его очередь, и он принял от кассира тридцать белых бумажек — новеньких, с хрустом. То был миг счастья.

* * *

И что же? Подобно Гоголю воскликнуть: скучно жить на этом свете, господа?

Отнюдь. Ибо на ряду с Баклажанами существуют: Волховстрой, Нью-Йорк, Донбас, Кантон.

Баклажаны — крупинка.

Кошелев — одна миллионная человечества.

Сложно жить на этом свете, граждане!

**ТРАГИКОМИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ**

СУДЬБЕ ЗАГАДКА.

„Нет такого мгновенья в жизни,
когда человек имел бы право по-
кончить с собой“.

Наполеон.

I.

ВНЕЗАПНЫЙ СПУТНИК.

„Пятнадцать лет тому назад, товарищи, в этот самый день царские палачи и акулы мирового капитала расстреляли русский пролетариат. Теперь сами, однако, рабочие и крестьяне взяли в свои руки кормило...“

Далее не слышно стало по причине вьюги. Красные флаги наклонились все разом и опять распрямились, рябые от снежной ряби.

— Кормило взяли! Это что же такое?

— Кормить тебя будут, дяденька, шоколадными конфетами!

И пошли все, и какая-то худая дама в пенсне, как посуда, задрезжалась: „Вы жертвою пали“, а за нею и все затаили, отплеываясь от вьюги.

— Эх ты, мурло! Люди жертвою пали, а он марсельезу!

— Да марсельеза громче!

— Ну, ори, чорт с тобой!

* * *

— Вот я и говорю, — сказал гражданин Артенев, наклоняясь к самому уху собеседника: — вы философ, вы меня поймете.

— Пожалуйста, не называйте меня философом, — возразил владелец уха: — в науке этой я вполне разочаровался. Я бы очень хотел, чтобы Гегель встал из гроба да повисел на трамвайной подножке, или чтобы Фихте в очереди постоял за мануфактурой.

— Вот я и говорю, — продолжал гражданин Артенев, оглянувшись робко на красные флаги, ибо уж так был воспитан: — ну, зачем я живу?

— Я это всегда говорил, — пробормотал бывший философ: — то есть не про вас, разумеется, а про себя.

Синие сумерки поползли из подворотни, они покружились недолго под ногами и поползли кверху.

— Ну, зачем я живу? Я получил, — это не хвастовство с моей стороны, уверяю вас, — блестящее образование. Я люблю книги, уединение. Бывало, я проводил целые дни лежа на диване в шелковом халате, читая песни провансальских трубадуров. У меня была бумага, шелковистая и гладкая, как выхоленная кожа. Я писал на ней золотыми чернилами изысканные сонеты.

Он умолк и поморщился. Очень уж громко вопил кто-то, стоя на грузовике, выплывшем из сумерек:

Граждане; кричать перестаньте!
Слушайте мое воззвание к Антанте!
Мистер Ллойд-Джордж, что за скверная манера
У вас воевать против Ресефесера.
Все равно и в Европе и в Азии
Как и пришел буржуазии!
Господин Клемансо, поворачивай дышло,
Из Деникина с Колчаком ни черта не вышло.
Наши красноармейцы храбрая публика.
Да здравствует Советская Социалистическая
Республика!

И с грохотом поэт на грузовике провалился во мрак.

— Да, — продолжал гражданин Артенов, взяв за локоть своего спутника: — я писал изысканные сонеты. Когда мне становилось скучно в Москве, я садился в коричневый вагон с золотыми львами — помните „Compagnie Internationale“? — и через два

дня меня овевал морской ветерок и вдали в темную воду вонзались огни Венеции... Вы скажете, что я должен был быть дьявольски счастлив. В том-то и дело, что нет. Когда я просыпался утром, у меня почти всегда на груди лежал какой-то гнет, какая-то тоскливая расслабленность мешала мне оторваться от подушек! Я путешествовал только потому, что это было так легко... Я выбирал те страны, где, я знал, были комиссионеры с галунами на фуражках, которые за небольшую плату давали напрокат свои ноги и руки. Главная радость жизни — любовь — не была для меня доступна, ибо родители той девушки, которую я любил... впрочем, вы, вероятно, помните эту историю! Девушки, которую я любил, которую и теперь люблю, нет в Москве, ибо ее родители еще при Керенском... впрочем, повторяю, вы, вероятно, помните эту историю. Я ей написал недавно письмо с одной подвернувшейся тайной оказией, но ответа не получил... Самому ехать куда-нибудь у меня, разумеется, нет так называемой энергии... Я совершенно не знаю, зачем я брожу по улицам, ношу тяжести и вообще что-то делаю. У этих людей, которые сейчас ходили с флагами, на лицах какая-то гнусная жизнерадостность. Как я завидую этим людям и как я хочу умереть!

— Справедливо изволите рассуждать, совершенно справедливо. Под размышлениями вашими

обеими руками подписываюсь и душевно радуюсь, что обрел единомышленника.

Голос, прозвучавший во мраке, был незнаком. Человек, у которого была козлиная борода, шел рядом с Артевым, и это его придерживал он за локоть. Бывший философ исчез, очевидно, оттертый толпой.

— Простите,— пробормотал в страхе гражданин Артев,— я думал, что говорю с одним знакомым.

— Это я извиняюсь,— возразил человек, у которого была козлиная борода:— т.-е. извините. За извиняюсь у нас в гимназии ставили единицу. Всякая ошибка возможна в толпе, ибо в ней, по словам поэта, уничтожается личность... *Ergo humanum est!* А кроме того мнение ваше для меня как бы сладчайшая музыка.

— Я очень тороплюсь,— сказал гр. Артев робко, но вежливо, ибо уже так был воспитан.

— А я с некоторых пор никуда не тороплюсь. Раньше я тоже торопился, потому что приятно было, знаете, после метели домой прийти! Тепло... жена, знаете ли, дети... А теперь не тороплюсь. Жена моя поездом была перерезана ровнехонько пополам: мешочники столкнули. Один сын у белых погиб, другой у красных. Из-за одного меня в Вечка посадили, из-за другого выпустили. Каково семейное равновесие? Так что, видите, никаких причин особенно дорожить земным бытием у меня не имеется. И если бы вы...

Тут с внезапным ужасом задергалась козлобродая голова, словно какая-то мысль больно забила в мозгу.

— Впрочем, в самом деле, не дерзко ли вас так при торопливости вашей задерживать... Я-то возле своего чертога стою, а вам еще по такой погоде итти, когда можно сказать: и человек, и зверь, и птица... Помните у Гоголя — средства изобразительности?

Он нето поклонился, нето опять дернул головой и скрылся за калиткой маленького деревянного домика, одного из тех, в которых по словам старушек и доньне в полночь собираются призраки надворных и титулярных советников и, расстегнув вицмундиры, играют в стуколку.

Гражданин Артенов быстро пошел домой, чувствуя некий (ибо уже так был воспитан) мистический страх и часто оглядываясь. Но каждый раз, когда он оборачивался, метель швыряла ему в лицо горсть холодных иголок, а ветер начинал выть еще в десять раз сильнее и яростнее.

II.

СЧАСТЛИВЫЕ АНГЛИЧАНЕ.

Комната, как сказано было в одной грамоте, „населяемая“ гражданином Артеновым, напоминала кулису или бутафорскую маленького

провинциального театра. Рядом с великолепным, верно, помнившим светлейшего Кутузова креслом— дырявые валенки, на столе красного дерева хрустальный кубок с золотым „Е“ и на том же столе пшеном наполненная кастрюля. Не удивительно было бы здесь, как и в бутафорской, встретить короля рядом с чортом или бродягою. Гражданин Артенев после недавней встречи ощущал некоторое беспокойство и неловкость, которую испытывает певец после неудачного выступления или писатель, изруганный в газетах. Кому выболтал он сокровенные свои помыслы? Дабы разогнать никчемную тоску, погрузился он в чтение романа, написанного на языке всемирного бандита Ллойд Джорджа:

„Артур Грехем в своем кабриолете уже подкатил к дому № 160а на Бекер стрите, кинул вожжи груму и через секунду уже пожимал руку юной Мэбель, долженствовавшей скоро стать его любимой, любящей и законной женой“...

Гражданин Артенев опустил книгу на колени. Забытый мир ковров, лиловых абажуров, хрустальных ваз с фруктами и недозволенных ласковых слов возник перед ним. Явился величественный царедворец с седыми усами и без всякой шеи: „Мое почтение, — говорил он так, что как раз никакого почтения-то и не получалось: — много стихов барышням в альбом сочинили? В мое время

и стихи сочиняли, и царю служили, и ни морфием, ни кокаином себя не подхлестывали“, — и уезжал играть в винт к губернатору.

Гражданин Артенев снова открыл книжку.

„Мать Мэбель, мистрис Соути, встретила Артура радостно: „Мэбель чуть не осталась без глаз, — сказала она, — так пристально смотрела она на улицу“. И с этими словами старушка ушла под каким-то предлогом. Ей хотелось оставить молодых людей одних“.

Гражданин Артенев вспомнил строгую и всегда слегка обиженную старушку, игравшую в хальму со всяким молодым человеком, который, по ее мнению, мог соблазнить зеленоглазую Лели. А если отлучалась она на секунду из комнаты, то кривобокая madame Chevalier входила и говорила: „Voyons, Lely, fais de la musique, mon enfant!“ И наконец самый ужас — маленькая записка: „Забудьте обо мне, мама и папа никогда не согласятся“. Гражданин Артенев отшвырнул книжку. Знакомая тоска, возникнув где-то под сердцем, усталостью разлилась по всему телу. Да еще у соседей начиналась обычная сцена:

— Я прихожу домой усталый, а мне даже кашу не сварили. Так подышайте вы все с голоду! Завтра же со службы уйду, чорт вас поberi!

— И подохнем лучше, чем с тобой жить.

— А, нехорош стал? Так не желаю больше от вас никаких одолжений.

И пошли хлопать все двери.

Гражданин Артенев знал, что если остаться сидеть в этой комнате, то, не зная удержа, подберется тоска к самому горлу и зажмет мертвой хваткой. Поэтому прибег он к способу давно испытанному. Он вышел из комнаты, спустился по темной многоэтажной лестнице и отправился бродить по улицам, засыпанным промчавшейся метелью. Он решил навестить потерянного в толпе философа. При этом он вспомнил, что путь к нему лежал мимо деревянного домика с козлородым обитателем, и чуть не повернул обратно, а потом все-таки пошел прямо. Луна раскидала лохмотья облаков. Гражданин Артенев вздрогнул. Из форточки оконца высовывалась бледная голова с козлиной бородой.

— Слышите?—прошептала она.—Мертвые-то не очень рады, что их без гробов хоронят.

Над отдыхающей после бури Москвой носились печальные далекие стоны.

— Это свистят паровозы, — сказал гражданин Артенев.

— Да, да, паровозы, — пробормотал тот: — мне-то уж поверьте, я-то своего сына по голосу узнаю. Впрочем, это не предмет для еветского разговора, да и обстановка мало напоминает салон. Не угодно ли зайти выпить чашку шоколаду

с бисквитом? Правда, шоколад изготовлен из ячменя, а бисквит странно похож на холодную картошку, но ведь в жизни все иллюзорно и символично.

Он тихо прибавил.

— Если не изволили за это время изменить своих взглядов на прекрасный дар богов, то смею утверждать: небезынтересно и не бесплодно будет наше собеседование.

Так как гражданину Артеневу было все равно куда идти, то, несмотря на страх, внушаемый ему труппоподобным лицом, он согласился и даже вежливо коснулся шапки, ибо уж так был воспитан.

III.

ПЕРСТЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ.

— Мой камердинер ленив, — сказал козлобородый человек, — дворецкий тоже не отличается прилежанием. Не рекомендую дотрогиваться до книг, если не любите пыли... Вы простите, что я все головой дергаю — явление чисто нервное.

На столе стояла никогда, повидимому, не мытая посуда, облепленная наслоениями, роясь в которых, можно было, как при раскопках Трои, открыть несколько периодов культуры. Неубранная постель с измятой серой простыней была холодна и отвратительна. Книжки, пыльные и изуродованные, лежали, сваленные в груды.

— С тех пор как душа запрещена законом, я книги больше для тела употребляю: питаюсь и отапливаюсь. Дров-то ведь нет! Кроме, разумеется, классиков. Под классиками разумею тех, которых давали в приложение к „Ниве“. У новейших авторов бумага толстая и вполне заменяет лучину. Встречаются такие перлы:

Почитал я Гоголя,
Вышел прогуляться...
Людам нужно много ли.
Вырвало от счастья.

— Не плохо? Впрочем, я позвал вас шоколад пить, а не навозну кучу разбирать.

Он дрожащей рукой взял кофейник и поставил его на печурку. Потом вдруг наклонился совсем близко к гражданину Артеневу и молвил тихо:

— У меня к вам разговор есть на тему о смерти.

Гражданин Артенов вздрогнул.

— Это очень интересно, — пробормотал он вежливо, а сам подумал: — „сумасшедший“.

— Интересно? — обрадовался тот: — Еще бы. Ведь умереть-то до смерти хочется. Да... забыл вам представиться: Иванов, Иван Иванович... Имя самое обыкновенное, отчество тоже и фамилия... А все вместе получается необыкновенно. А знаете, кто я по социальному положению? — Самоубийца. Да, да. Я так и в анкете анонимной написал:

ваше любимое занятие: кончать жизнь самоубийством. Я и с веревкой на шее всю ночь на ночном столике простоял, а толкнуть не посмел, я и на рельсах два часа пролежал, а перед самым паровозом отполз. Ничего не получается. Смерти боюсь смертельно. Я вообще-то в комнате один не люблю. Я после гибели жены нищих к себе ночевать приводил. Друзья все при различных обстоятельствах погибли, да и были ли у меня друзья, вопрос, требующий ближайшего рассмотрения. Не могу один и смерти боюсь именно в одиночестве. Одному в темноте на крюке висеть! Как вы скажете?

— Конечно, неприятно,—вежливо отвечал гражданин Артенев.

— Так вот-с... мысли, высказанные вами случайно в толпе... Одним словом, полагаю, что меня поймете и отговорок напрасных приводить не будете. Вот-с...

Он выдвинул из столика ящик, вынул оттуда большой темный перстень с причудливым гербом, который от нажатия пружинки откинулся, обнаружив маленькое золотое углубление и в нем темное зернышко, гладкое и блестящее. Иван Иванович Иванов из того же ящика вынул от времени пожелтевшую, мелкоисписанную бумагу и протянул гражданину Артенову.

— Полюбопытствуйте,—сказал он.

„Сие черное семя, добываемое эфиопусами в их отечестве, быв растворено в каждом свене молока питье, оному ни цвета, ни вкуса мерзостного не причиняя, в кровь невидимо некий яд вводит, оный же к сердцу нечуемо подползая сильнее аспида язвит. А живут послед испития-то один час, то два с дородностью телосложения в соответствии, а привезено семя во французское королевство для славной Катерины Медичис, коя многих вельмож знатных оным, коварства своего ради, изведа“.

— Один американец, — сказал Иванов от волнения хриплым голосом, — такой опыт сделал. Он два револьвера одинаковых взял, один зарядил, а другой нет, потом перемешал да из одного в висок и выстрелил... И жив остался... Каково испытание для судьбы? Револьвер для гражданина Эрэсэфэсэр вещь недоступная... Вот я и хочу... два стакана взять, в один положить зернышко да на удачу и выпить... Я давно хотел, но один не могу... Другое дело при сочувствии зрителя... А, может быть, вы бы сами другой-то стаканчик... Я вас еще сегодня после встречи к себе затащить хотел... Но испугался... Так как же?..

Гражданин Артенов молчал. Ему почудилось, что в углу явился вдруг некий в шитом серебром плаще красавец и мигнул ему, пригубив золотой кубок, и тотчас стал скелетом и рассыпался

неслышно. Иван Иванович Иванов долго и со страхом смотрел ему в глаза, потом вдруг словно угадал тайные помыслы, засуетился.

— Вот стаканы, — сказал он торопливо: — есть кипяченая вода... Сырой опасаясь по причине желудка. Ведь, может быть, придется еще живым остаться... Так неудобно новую-то жизнь начинать с гастрического заболевания.

Он вышел из комнаты, вернулся с кувшином, наполнил водою два стакана и в один из них бросил зернышко. Бросив, закрыл глаза и переставил стаканы несколько раз. И когда он переставлял, гражданин Артенев тоже закрыл глаза, хоть и страшно ему было.

— Иван Иванович, — услышался печальный голос: — это вы мою водичку взяли?

Печальное лицо с очками на кончике носа просунулось в дверь.

— Так, голубчик, нельзя-с... У моей жены мигрень, и она эту воду, как манну, бережет, а вы пьете... Да еще гостей угощаете...

Печальный человек взял кувшин и ушел, укоризненно поглядев на гражданина Артенева.

— Домашние трения, — усмехнулся Иванов: — не дурно для финала жизни.

Он начал ходить из угла в угол, будто разговаривая сам с собой, потом взял со стола какие-то фотографии, бросил в огонь и с любопытством

смотрел, как вспыхнуло с новой силой подкормленное пламя.

— Жена и два сына, — пробормотал он.

И тут, схватив один из стаканов, выпил его залпом. Гр. Артенев видел перед собой только другой оставшийся на столе стакан. Он почувствовал у себя в руке холодное, гладкое стекло и, ни о чем не думая, спокойно, как некогда пил шампанское, выпил воду. И тотчас ему показалось, что стены комнаты сдавили ему грудь, а от козлотородого призрака пахло тленом. Задыхаясь, кинулся он к двери, с бешенством вырвал рукав свой из цепких пальцев и через секунду бежал по пустой улице. А сзади него из форточки неся крик:

— Куда же вы? Куда же вы?

IV.

ОДНО ИЗ ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Гражданин Артенев бежал, и ему чудилось, что кто-то преследует его по пятам, и не хватает только, чтоб поиздеваться и помучить. Но это была только черная его тень, мчавшаяся следом за ним по серебролунным стенам домов, успевавшая еще по дороге нырнуть во все дворы, во все впадины и подвалы недостроенных зданий и катившаяся по снегу, когда владелец ее перебегал улицу или переулок. Добежав до своего дома, гражданин

Артенев вдруг остановился, а за ним на каких-то развалинах развалилась его тень,

Морозная звездная ночь была мудра и величественна. Куда он бежал? Он оглядел огромный дом, в котором жил, и вздрогнул. Его окно, одно во всем доме, было озарено живым, изнутри блестящим светом. Что это? Обыск? Или сама смерть пришла и ждет его, свернувшись на кутузовском кресле?

Он начал подниматься по темной лестнице, будя недовольное разбуженное эхо. Здесь где-то жил врач. Не к нему ли сначала постучаться? Но врач верно сердит после дневных смертей, и ему не втолкуешь про Екатерину Медичи. Гражданин Артенов поскрежетал английским ключом, прошел по темному, заставленному шкафами коридору и распахнул дверь своей комнаты. Комната была ярко освещена. Вместо обычного холода на него пахнуло теплом и запахом кипящего кофе. На кутузовском кресле в самом деле сидела, свернувшись, какая-то неведомая гостья, закутавшаяся в платок... Но вместо острой косы, подобающей смерти, с ней рядом лежал чемодан. Когда дверь внезапно отворилась, сидевшая в кресле, видимо, перед этим дремавшая, вскочила с некоторым испугом.

— Вы простите, что я приехала прямо к вам, — сказала она, — и что я распоряжаюсь у вас... Но я получила ваше письмо и думала...

Гражданин Артенев в ужасе оглянулся на дверь. Он подумал, что сейчас войдет кривобокая madame Chevalier и скажет: „*Voуons, Lely, fais de la musique, mon enfant!*“

Но никто не вошел.

— А ваши родители? — спросил гражданин Артенев, хотя сам устыдился, ибо уверен был, что беседует с призраком.

— Они уехали за границу.

— А вы?

— Я приехала в Москву.

— К кому?

— К вам, — ответила девушка и, сказав, немного смутилась.

— Ко мне? — переспросил он, все еще не веря.

— Ну да, ведь вы писали, что любите меня. Или вы солгали?

— Но как вы могли?

— Что?

— Ваши родители?

— Господи! Далась вам мои родители. Вы еще спросите, не приехала ли со мною madame Chevalier! Вы все еще думаете, что я робкая девушка в белом, которая „так сидит“ за фортепьяно и разучивает шопеновский вальс. Или что вы думаете?

— Я думаю, что вы призрак.

— Хорош призрак, которому, чтоб добраться до Москвы, пришлось просидеть два месяца в

товарном вагоне... Видите... Мне пришлось переодеться с ног до головы... Между прочим я здесь сказала, что я ваша сестра.

— Вы восхищаете меня, — сказал тупо гражданин Артенев и поцеловал пальчики ее руки, ибо так был воспитан.

Она изумленно взглянула на него.

— Вы говорите как на *five o'clock'e*, — сказала она. За эти два месяца я привыкла к другим выражениям... *Madame Chevalier* умерла бы от любого из них, но мои уши и глаза оказались очень выносливыми. Мне так хотелось вас видеть... Но, вы знаете, папа чуть не увез меня. Я с пароходной пристани удрала... Продала серьги и поехала...

— Но вас могли убить по дороге.

— Конечно, могли. Однако не убили. Я мимо самого батюшки Махно проехала... В Ростове было так скучно. Меня злили французы... Они часто приходили к нам. „*Eh bien, mademoiselle, il faut se marier! Hein?*“ А я решила уже, если выходить замуж, то за вас. Но скажите, вы рады, что я приехала?

Гражданин Артенев вдруг понял, что теперь он уже не будет сидеть в долгие зимние вечера перед тлеющей печуркой, придавленный к дивану привычной и ленивой тоской, что теперь смешны, а не страшны будут иппенные трапезы. И он радостно обнял свою возлюбленную. И тут почудилось

ему, что в углу явился некий в шитом серебром плаще красавец и мигнул ему, пригубив золотой кубок, и тотчас стал скелетом и рассыпался неслышно. Его руки разжались, и трепеща всем телом, с ужасом оглядел он комнату.

— Что такое?— с беспокойством спросила Лели.

Но, испуганно глядя на нее, он молча отступал к двери, и через секунду снова над ним рокотало недовольное разбуженное эхо, а голос, полный тоски и недоумения, кричал во мраке: Куда же вы? Куда же вы?

V.

СЛЕПОЙ ФАТУМ.

Опять неслась через город вьюга и опять кидала она в лицо пригоршни холодных иголок. Но гражданин Артенев бежал, наступая прямо на свирепых белых змей, которые со свистом обвивали ему ноги, бежал, проваливаясь в сугробы, бежал так жутко, что какой-то запоздалый обыватель, оглянувшись на него, тоже побежал и юркнул в темные ворота. Добежав до дома, куда заманила его козлородая смерть, припал он к окну. Но ничего не было видно за занавеской, хотя искорками просвечивал местами огонь, и будто чья-то тень двигалась... Гражданин Артенев стукнул в окно, занавеска приоткрылась, и все-таки ничего нельзя было разобрать сквозь замерзшие стекла. Гражданин

Артенев кинулся во двор. Дверь приотворилась на цепочке.

— Кто? — спросил печальный голос.

— Гражданина Иванова... я хочу видеть...

— А, это вы-с... Пожалуйста. Может быть, вы разъясните это происшествие.

У двери роковой комнаты толпилось несколько испуганных мужчин в шубах, накинутых поверх рубашек. Откуда-то доносились истерические вопли женщины.

— Что это? — спросил гражданин Артенев, и, как бомба, взорвалась в нем дикая радость.

— Полюбуйтесь, — сказал печальный человек.

Иван Иванович Иванов лежал на столе верхней частью туловища, расставив ноги, словно рассматривал он какую-то красную материю, лежавшую на столе.

— И никто за милицией не идет, — сказал печальный человек, — по причине уличных грабежей. Все равно, конечно, помер... Но уж очень крови много течет.

— Крови? — спросил гражданин Артенев, сжимая грудь, чтоб не взорвался в ней теперь ужас.

— Ну да... Поднял крик на весь дом... С час назад это было, как вас проводил... Мы сбежались, думали — воры, а он бритвой трах себя по горлу. И вот результат... Бессонная ночь... А завтра всем на службу к десяти часам, а иным и к девяти.

Жена вон моя в истерике... А весь день от мигрени страдала... Конечно, страшно... Может быть, участь всех нас... Сходили бы хоть вы за милицией.

Гражданин Артемов вышел на улицу. Ему почудилось, что снег уже не кружится вокруг него, а проникает во все поры его тела, и что сотни холодных, как лед, аспидов ползут по его жилам и вот-вот вопьются в сердце. Он понимал, что стоит на коленях в снегу, но зачем стоит, не понимал. „Только бы, — думал он про аспидов, — не кинулись, не растерзали сердце“. И тут возникла вдруг среди ночи маленькая, ярко освещенная комната, и он кинулся было к той, сидящей в кресле, но кто-то—не madame ли Chevalier?—захлопнул дверь, а земля, крутясь, вырвалась из-под ног и понеслась в звездные дали.

* * *

Снова кончилась вьюга, и морозная заря, как огромное красное знамя, поднялась над Москвой.

Ругаясь, что не избег на сей раз повинности, нахлестывал ломовой лошаденку, а на розвальнях, зевая с холоду, сидел милиционер, и лежали под дырявой рогожей два трупа. А позади бежали неизвестно откуда в ранний час взявшиеся мальчишки и пели:

Вечная память!
Больше не встанет!

И не попьет!
И не пожрет!

А солнце всходило все выше и выше, и, казалось, чудовище с огненной головой, пробудившись от сна, шагает по миру и смотрит вдаль и не видит, что там, где ступали его лапы, корчатся в муках раздавленные букашки.

ЖЕНИТЬБА МЕЧТАТЕЛЕВА:

ГЛАВА I.

Отбрось убеждение и ты спасен. Но кто может помешать тебе его отбросить?

Марк Аврелий.

О, милые мои, дорогие потомки, о, грядущие литературы и быта историки, о, книголюбы двадцать первого века!

Вижу, вижу, как сидите вы на холодном полу плесенью пахнущего архива, как роетесь вы в толстых — не в подъем тяжелых — словарях-энциклопедиях!

Слышу, слышу, как один книголюб с изумлением спрашивает другого:

— Как понять: „зловонным отплевываясь дымом, из-за поворота показался Максим“?

— Максим? — говорит другой, потирая лоб: — гм! Это христианское имя! Некий Максим шел и курил скверный табак!

— Нет,— возражает первый: — дальше сказано: „он был набит людьми, ноги их в дырявых валенках торчали из окон“.

— Вспомнил,— перебивает второй: — это был кафешантан. Мне недавно еще попалась песенка:

На это есть Максим,
Давно знаком я с ним!

— Почему же из кафешантана торчали ноги в дырявых валенках?

— А что же? У писателей той эпохи — впрочем, посмотрите в словаре!

И в каком-нибудь десятом томе, на пятисотой странице найдет, наконец, любопытный разгадку:

„Максим — поезд эпохи великих гражданских войн. Назван в честь писателя Максима Горького“. Босяк-поезд в честь босяка-писателя!

Но что будет для вас этот третий по значению Максим, для вас, перелетающих с места на место быстрее воображения с помощью какой-нибудь машинки, умещающейся наподобие портсигара в жилетном кармане!

Да, трудно будет вам понять, как десять, двадцать часов, кашляя и громыхая ржавыми цепями, завязая в снегу, полз этот Максим, поистине горький, и как в январскую вьюжную ночь на полустанке ждали его люди, трепеща до боли в сердце, и как завывали они все разом, когда в снежной

пучине, среди мириад снежинок, завертелись вдруг мириады алых искр.

По выпученным глазам людей видно было, что эта минута и есть в их жизни самая главная, и если когда-то раньше припадали они к материнской груди, воровали, зубрили, мечтали, то все это они делали лишь ради того, чтобы в эту снежную ночь осаждать стонущий от непосильной тяжести поезд и в восторженном озлоблении царапать, щипать друг друга, цихать локтями, ругаться во все горло вдохновенно и бессмысленно. С отчаянием кричал кто-то:

— Продвиньтесь, гражданин, дайте прицепиться! Будьте настолько сознательны!

Гроздь человеческих тел повисла было, но от сильного толчка вдруг рассыпалась, вагоны поползли с неожиданною быстротою, и только один счастливец остался-таки в мраке площадки, сел на свой мешок, буграстый от картошки, и погладил ушибленную ногу. При этом он обнаружил, что он упирается ею в чье-то бородатое и неподвижное лицо.

— Pardon,— сказал он и отдернул ногу.

Кто-то рассмеялся над ним во мраке.

— Monsieur est trop aimable! Или вы думаете, что под влиянием борьбы с безграмотностью мужички научились недурно калякать по-французки: „Eh bien, Климыч, êtes-vous heureux avec votre

Агафья?⁴ Думаю, что заблуждаетесь! Видите, он и не пошевелился. А скажите вы ему — моя соседка разрешит мне так выразиться — ты чего разлегся, сукин сын? — услышит и подвинется.

Но лежащий, видимо, крепко спал, ибо и тут не пошевелился. Гражданин Мечтателев, разумеется, ничего не мог увидеть в темноте, но упоминание о соседке приятно взволновало его в этом ползущем среди первобытного хаоса поезде.

— Лучший способ узнать человека, — продолжал голос, — это наблюдать его при посадке в поезд или в трамвай. Иной добродушнейший и компанейский малый над случайно раздавленным червем плачет и рассуждает о микрокосме, а когда садится в поезд — звереет, лица человеческого на нем нет, и дайте вы ему в этот миг нож, воткнет он его вам в спину и еще будет поворачивать его там наподобие штопора... Что на это скажет наша очаровательная соседка?

Гражданин Мечтателев с интересом ждал ответа, но его не последовало, словно и не было никого во мраке.

— Впрочем, в самом деле, ведь ночь, — пробормотал голос с некоторою как будто досадою, — а по ночам принято спать... Так, по крайней мере, гласит кодекс пансионеров для благородных девиц! Вы в Москву изволите ехать?

— Да, в Москву!

— И я! Тянет! Все мы кричим в роде Чацкого: вон из Москвы, карету мне, карету... А как подадут карету... впрочем, я и вам мешаю спать своею болтовнею...

Он умолк. Гражданин Мечтателей ясно представил себе одинокую путешественницу, уставшую и томную, ему вдруг почудилось, что он сидит в экспрессе, медленно ползущем к сен-готардскому перевалу, и что завтра утром, открыв глаза, он увидит внизу голубую страну — *madonna mia!* — кусок неба, упавший на землю, а рядом зевнет после сна и улыбнется ему одинокая путешественница...

Под равномерное постукивание вагона сквозь окоченевшие мозги поплыли сонные, бессвязные, сотни раз продуманные мысли — воспоминания, воспоминания, воспоминания — и уж ничего нельзя было понять, сон ли это был или действительность.

* * *

Когда говорилось „жизнь“, то представлялось: море, огромное лазурное море — океан, при тропическом солнце блестящий, гладкая, как паркет, палуба, музыка, белые на фоне синего простора девушки... Целоваться хочешь — выбирай любую! А там вдали, словно облако, неведомая страна, у деревьев листья, как слоновьи уши, цветы

с лепестками, каждым из которых можно прикрыть отдыхающую в полдень возлюбленную... Когда заходит солнце, сразу вспыхивают все звезды, словно миллионы ракет вдруг рассыпаются по небу. Яркая, как солнце, луна выглядывает из-за леса. Голый раб бьет в серебряный гонг. „Господин! Великий Тотемака да простит мне мою дерзость, но время объятий наступило!“ И возлюбленный лениво встает и скидывает лепесток с тела возлюбленной. А три рабыни садятся поодаль и поют заунывно:

Вы, безглазые духи ночи, облетайте эту поляну,
здесь обнимаются влюбленные...

Ветер, лучше лети в море! Там ты нужен далеким
кораблям, а здесь ты треплешь кудри той,
чей возлюбленный ревнив, как пума.

Луна, уходи в темные ущелья! Там ты нужна оди-
ноким путникам, а здесь твои лучи смущают
ту, которая...

— Петр Алексеевич, — говорил старческий го-
лос: — кушать пожалуйста! Тетушка из себя изволили
выйти! Рвут и мечут!

Петр Алексеевич Мечтателев вздрагивал, под-
нимал съехавшую с колен книгу, взглядывал
в зеркало на свои горящие глаза и шел в столо-
вую, где рвала и метала сухенькая, уютная ста-
рушка (на рояле училась играть у Дюбюка).

— Петя, — говорила она, — суп в третий раз по-
дают... И как тебе самому не обидно! В другой

раз я, право, рассержусь — будешь все холодное кушать!

И тут же, глядя на его блуждающие глаза, думала: „так вот, вероятно, и Шиллер, когда сочинял „Орлеанскую деву“. Похудеет он от этого писательства! Уж лучше бы таланта не имел, да был потолще!

В гостиных, когда зажигались во всех углах кружевные абажуры и озаряли фотографии камергеров, говорил глубокомысленный ценитель прекрасного, держа в одной руке чашку, в другой печенье и перекладывая подбородок с одного острия воротничка на другой:

— Талантливый человек! Одарен всесторонне и несомненно принадлежит к числу мятущихся натур!

И девушки вторили по углам:

— Ах, какая мятущаяся натура!

А завистливые юнцы спрашивали саркастически: — как можно метаться, сидя в кресле?

Говорят, одна девица, придя навестить ту самую старушку-тетку и не застав ее дома — предлог это был наочевиднейший — решила подождать и, зайдя, задыхаясь от ужаса, в пустой кабинет Петра Алексеевича, прочла в раскрытом на столе дневнике:

17 февраля. Жизнь моя будет необыкновенна, ибо чую в себе великие силы. Лучше быть великим и несчастным, чем счастливым и невеликим

(зачеркнуто), малым (зачеркнуто), ничтожным (подчеркнуто).

18 *февраля*. Посетил передвижную выставку. Слышал, как стоявший рядом со мной чиновник сказал жене, указывая на „Владимира Маковского“: „Хорошо эдак с гитаркой посумерничать. На столе самоварчик! Тепло! Тихо эдак... Красота!“ Он счастлив по-своему. Ему не тесно в мансарде, а мне тесно во вселенной!“

Тут, говорят, девица случайно взглянула в олимпийские глаза великого Гете, взвизгнула и опрометью побежала домой, так что лакей, догнав ее уже на улице, не без борьбы надел на нее шубу и шапочку.

И такие случаи, говорят, повторялись.

Княгиня Олелегова горевала, что ее сын материалист, и советовалась с той же тетушкой, как быть, но тетушка качала головою.

— Ведь мой Петя не пример,—говорила она:— у него кровь! Ведь моя бабушка — рожденная герцогиня Монпарнас, троюродная сестра Шатобриана.

И княгиня Олелегова ехала домой, расстроенная, и в своей роскошной передней натыкалась на трех взъерошенных, которые, принимая из рук презрительного швейцара дырявые пальто, спорили о каком-то капитале, словно наследство делили.

Любопытная девица была болтлива, и слухи о дневнике дошли, говорят, до самой *madame la Vie*,

которая в это время в платье, усыпанном блестками, исчезавшем совсем, когда она сидела, пила шампанское и наблюдала аргентинское танго. А докладывавший ей об этом остробородый чорт во фраке с орхидеей прибавил, лизнув ее в напудренное плечо:

— Чемодан уложил! В кругосветное путешествие едет! Всем европейским „кукам“ телеграммы посланы!

— А, так?!. — И тут же на ресторанном меню резолюцию наложила.

Чорт прочитал и такое от радости антраша выкинул, что туфля лакированная с ноги сорвалась, румыну-скрипачу смычок пополам!

Хохоту! Хохоту!

А на другой день! О-ге-ге! Экстренная телеграмма! Германия объявила...

И по всем улицам все гимны, гимны, гимны!

Что, уложил чемоданчик? То-то, голубчик!

* * *

Был такой день, когда Петр Алексеевич робко вошел в свой кабинет, покинув ванную комнату, в которой просидел он целую неделю. Из огромного окна видна была „Златоглавая“, а в стекле чернела дыра и вокруг нее паутина трещин, как на карте узловая станция. Издали казалось — не

стекло, а сама Москва растрескалась. Кинулся к зеркалу: деревянная гладь и на полу осколки, а за стеной тетушка с горничной что-то разбирает.

— Барыня, дворник приходил — он теперь важный — самоварчик один не продадите ли?

— Нет, нет, самоварчик нельзя продавать! Он еще Пете пригодиться может!

И вот тут-то лопнул от хохоту остробородый чорт, и запахло серой по всему миру.

* * *

Что-то тускло синело в дверных окнах. Это был морозный рассвет, нудный и длительный. Гражданин Мечтателев, открыв глаза, сразу посмотрел в угол. Там на фоне синевы вырисовывалась женщина, вся спрятавшаяся в шубу, так что нельзя было определить, спит она или не спит, молода или стара, красива или безобразна. Но он был твердо уверен: не спит, молода и красива.

Мысль поразить ее и обрадовать тою культурою, которой не ждет она, верно, встретить на грязном „Максима“, приятно взволновала его. Бородач на полу попрежнему спал, спал и говоривший вчера человек, съезжившись на чемодане.

Это был небольшого роста, худой человек с бледным, бритым лицом, на котором жутко, будто

впадины черепа, синели огромные круглые очки. Что-то жеманное и наглое было во всей его фигуре, и гражданину Мечтателеву вдруг вспомнилась глупая картинка, выставленная некогда у Дациаро: девушка, вся обнаженная, лежит со связанными руками на ковре, а над нею склоняется некий с гладким, как зеркало, пробором и с непонятной улыбкой на бритом лице. А сзади скелет держит светильник. Гражданин Мечтателев почувствовал вдруг холодную жуть и, не в силах переносить долее молчание, тихо, чтоб никого не разбудить, спросил:

— Вы, вероятно, направляетесь в Москву?

— Да, — ответила она к его радости тоже тихо: — а вы?

— О, конечно! Я москвич! Я просто сделал маленькую вылазку за так называемыми предметами первой необходимости, но

„J’entrevois mon destin: ces recherches cruelles
Ne me découvriront que des horreurs nouvelles!“ ¹⁾

— А вы тоже москвичка?

— Нет, я из Керчи.

Он слегка смутился. Керчь? Могла ли элегантная женщина родиться в Керчи?

¹⁾ „Я предчувствую, что эти трудные поиски мне не принесут ничего, кроме новых несчастий“.

— Но у меня,— продолжала та,— тетушка живет в Москве, на Плющихе (она назвала переулок), в доме номер пять Не знаете?

Гражданину Мечтателю показалось, что при этих словах пошевелил головою человек в синих очках, словно быстро взглянул на девушку. Но, должно быть, он просто поправил во сне усталую голову.

— Если что-нибудь понадобится вам в Москве, сказал гражданин Мечтателев (после Керчи уже с меньшим волнением),— я живу (он назвал адрес).

— Как же я к вам приду,— возразила девушка,— мне будет довольно неудобно притти к мужчине.

— Отчего же неудобно? У меня лестница сравнительно удобная.

— Я вовсе не про то... Мне к вам притти будет неприлично.

— Это другое дело! Я не знаю керченских правил приличия!

Он сердито спрятал лицо в воротник. Кончился лес — сразу посветлело, и при свете дня он увидал большие голубые глаза, смотревшие на него с кротким недоумением. На ее голове был мягкий шерстяной платок, а огромный лисий воротник обрамлял розовое личико.

Внезапно заговорил человек в синих очках:

— А вы знаете, почему этот товарищ вчера на сукина сына не откликнулся? Мертвый! Это вы покойнику вчера „pardon“ сказать изволили!

Гражданин Мечтателей испуганно отдернул ногу и слышал, как девушка сказала, перекрестившись:

— Царица небесная! Какая жалость!

Бородач лежал навзничь, и абсолютная неподвижность его — неподвижность вещи — выдавала тайну.

„Максим“ подполз к полустанку. Человек в синих очках лениво встал с чемодана и приотворил тяжелую дверь.

— Тут человек умер, взять надо!

— В Москве пост, — отвечал сонный голос, — там и жалуйтесь!

— Да я не жалуюсь, я заявляю!

— Ну, там и заявляйте!

Но другой голос спросил:

— А он, покойник-то, в погах?

— В новешеньких!

Подожли два сторожа и, зевая, вытащили труп.

— Не шевелитесь, — крикнул человек в синих очках. — Какая гадость!

Он несколько раз с силою топнул ногой по тому месту, где лежал труп. Петр Алексеевич в ужасе зажмурил глаза. „Максим“ снова тряхнул цепями, вдали в сером небе уже висел огромный золотой

купол. Как по воде круги, расплзлись блестящие рельсы. У Петра Алексеевича был странный миг, словно потерял он на минуту сознание, а когда огляделся кругом, то увидел уже вокзальную сутолоку.

Девушка аккуратно поднимала какие-то мешочки, очевидно, гостинцы тетушке, а человек в синих очках схватил свой чемодан, обклеенный квитанциями всего мира.

— A rivederci!— крикнул он и помахал рукою с фамильярной театральностью.

Какой-то лохмач загородил вдруг вселенную своим пятипудовым мешком, а за ним другой, а за ним третий. А когда, с волнением толкаясь и крича „виноват“, пробился гражданин Мечтателей сквозь толпу, то никаких голубых глаз, разумеется, уже не было...

„И чорт с ними,“— подумал он.

Исчез и человек в синих очках.

ГЛАВА II.

Zwei Seelen wohnen, ach! in
meiner Brust.

F a u s t.

Каждый день проходил по судьбою составленному расписанию, и было оно — смешно и сравнивать — не в пример точнее железнодорожного. Только иногда почему-то шумело в ушах, и тогда

казалось, что все еще сидишь на мешке в холодном вагоне, по спине тогда пробежал озноб как от внезапно залетевших за воротник снежинок, и огромные синие очки расплывались тогда круглыми мраками. Но это продолжалось секунду. Иногда еще ночью казалось, что кто-то стоит в темноте и дышит над самым ухом; но и это на одну секунду. А в общем расписание не нарушалось. Было восемь часов вечера и Петр Алексеевич знал, что сейчас войдет сосед Иван Данилович и скажет: — „А Повелецкая-то дорога стала“. А если не Повелецкая, то Курская. Он даже загадал: если Повелецкая стала — хорошо ему будет, если Курская — плохо.

Иван Данилович вошел. Сначала вошел, а потом постучал по двери.

— Извиняюсь, — сказал, — не постучал! Ну — да ведь вы не дама! Да и дама-то теперь при столь низкой температуре вряд ли будет голышом сидеть.

Вид он имел необычайно таинственный.

— Помните, — проговорил, он садясь в кресло, — я вам вчера про шайку бандитов рассказывал? Они еще бриллианты похитили (Иван Данилович огляделся), которые за границу отправить хотели? Ну, так вот: всю шайку нашли, кроме самых главарей, и все бриллианты тоже, кроме самого главного! Нето спрятали больно ловко,

него потеряли.. Вся Москва теперь ищет! Ничего не слышали?

— Не слышал!

— Обыски, говорят, идут повальные! Зубы даже осматривают; у Анны Григорьевны знакомого дантиста мобилизовали... Не слышали?

— Ничего не слышал! Вероятно, вранье!

— Ну, как же так вранье! Вся Москва не соврет... А недурно этакий бриллиантище найти! Тогда можно, пожалуй, и колотым побаловаться! А?

— А не слышали, какая дорога стала, Курская или Повелецкая?

— Вернее, что обе! Мне инженер один объяснил! Ну, еще, говорит, с горы паровоз без дров как-нибудь съедет! А в гору? Да-с! То-то и оно-то! Так если искать пойдете, на Ильинке не ищите! Там на три аршина под землю все обыскано... И на Арбате не ищите! На Арбате я ищу... Я собственно за этим и зашел. Утаить бы мог, да не в моем характере! Ну, как ближнего не выручить? Найдете, ну, тогда с вас могарыч!

Оставшись один, Петр Алексеевич задумался.

„Ведь вот, — подумал, — наверное есть такой счастливец, который найдет бриллиант!.. Уедет чорт знает куда, будет в лунные ночи кататься по венецианской лагуне с какой-нибудь... А, чорт!..“

Он от злости ударил кулаком по столу. Тут случайно взглянул он на бумагу — отрывок книги — в которую было завернуто выданное на службе мыло, и слово „алмаз“ удивило его. Это были стихи неизвестного поэта. Средняя часть стихотворения была залита чернилами, но начало и конец можно было прочесть:

У меня в руке сверкают два алмаза драгоценных,
Два алмаза драгоценных у меня блестят в руке!
Я нашел их у потока возле вод шумливо-пенных,
Я их поднял у потока на сверкающем песке!
Я хочу теперь проверить, настоящие ли оба,
Оба ль равно драгоценны, я теперь узнать хочу...

и далее после пятна:

Я проверю, взявши камни, брошу их в костер горящий,
Брошу их в огонь палящий, и огонь ответит мне!
Но, увы, золою черной станет камень настоящий,
Лишь поддельный так же ярко засверкает и в огне!

Он подумал, что это было странное совпадение. Ему вдруг ясно почудилось (и это было впервые при свете), что сзади стоит кто-то, и не кто-то, а ясно — „он“, в синих очках — и вот-вот тронет за плечо, и тогда-то уж нельзя будет не сойти с ума от ужаса. Кровь застучала в висках, и, пересилив себя, он оглянулся: никого, конечно, не было позади. Однако оставаться в комнате стало

страшно. И, задрожав вдруг мелкою дрожью, он надел шапку (шубу он дома не снимал) и пошел по лестнице, ведущей на улицу.

Так нарушилось расписание.

* * *

Шел крупный снег. Выйдя на улицу, он долго размышлял, куда идти, и, наконец, пошел — куда глаза глядят, а поглядели они в сторону Плющики. Стыдясь самого себя, он глядел себе под ноги, так, просто глядел, а втайне думал: „Вот бы найти!“ Он перешел пустой Смоленский, пошел по Плющихе и вдруг на углу какого-то переуллка увидал женщину. Она была одета в шубу с волнующим изломом контуров, на голове у нее была шапочка, обшитая квадратиками, но лица ее нельзя было разглядеть, ибо высокий меховой воротник скрывал его. В руках женщина держала чемодан, облепленный снегом, как вся она. Она стояла задумчиво, будто прислушиваясь к чему-то. Когда гражданин Мечтателей прошел мимо нее, его овеял легкий аромат духов, и, сам не зная зачем, он свернул в переулок и, пройдя шагов десять, взволнованно оглянулся. Ничего нельзя было различить в снежной пелене. Красавица исчезла. Тогда он подумал, куда идет, и вдруг вспомнил: этот переулок был тот самый, названный голубоглазой

дурочкой. Оглянувшись еще раз и никого не видя, он начал считать номера домов:

Первый.

Третий.

Седьмой.

Что за вздор?— Пошел назад.

Седьмой.

Третий.

Первый.

Между третьим и седьмым низенькие каменные арки с зияющими ямами, витая лестница, идущая в небо, груды кирпичей. Откуда-то вдруг возник один из недавно в Москве появившихся, вечно довольных людей в верблюжьей куртке, с великолепными рукавицами за поясом, в превосходных валенках и в белой с ушами до колен шапке.

— Не знаете,— спросил его Петр Алексеевич,— где тут дом номер пятый?

— А вот он... дом... только от него один номер остался!

— Тут старушка жила, не знаете, куда она делась?

Довольный миром человек свистнул.

— Эк,— сказал он,— не повезло старушке! Пока жива была — никто! Померла — то один, то другой! Намедни вот тоже барышня: где старушка? Узнала — так и покатилась. Я ей говорю: вы, гражданка, чем убиваться, лучше в милицию пойдите,

вам там разъяснят, где ее могилка. Плачет: на что, говорит, мне могилка. Ну, говорю, ваших убеждений мы, конечно, не знаем, а только панихидку бы отслужили... Сами знаете, какой теперь похоронный процесс... Хоп, хоп да и в гроб, тят-ляп и назад! Спиртиком не торгуете?

Гражданин Мечтателев машинально ответил:

— К сожалению, не торгую.

Довольный миром человек надел рукавицы и исчез, посвистывая.

Петр Алексеевич все ходил по переулку, но уже ничего не искал, и в сердце у него стало пусто, как в проткнутом шалуном мячике. Что-то ткнуло его сзади в ногу. Худая ободранная собака неслышно шла за ним, а еще две другие такие же сидели возле развалин, словно ждали чего-то. Петр Алексеевич, задрожав, отскочил, и, тоже задрожав, отскочила собака. Где-то близко грохнул выстрел. Он побежал.

ГЛАВА III.

„Это какая-то чортова неразбериха“.

(Резолюция на одной бумаге).

Он подбегал уже к самому своему дому, как из-за угла врезался в ночь желтый день, и, переваливаясь на снежных буграх, выцлыл большой

черный автомобиль. Два солнца, рябые от падающего снега, уставилась вдруг в Мечтателева.

— Эй, товарищ, — крикнул голос, — женщину с чемоданом не видали?

— Товарищ, — пробормотал Петр Алексеевич, — я иду со сверхурочной работы и никакой женщины не видал!

— Ой ли?

— Клянусь вам своей революционной совестью.

Автомобиль вдруг взвыл и, взяв снежную преграду, помчался куда-то.

Петр Алексеевич отдохнул от страха и по темной лестнице стал добираться до своего жилища. Странное дело! Внизу лестницы пахло только дымом, но чем выше он шел, тем явственнее к этому запаху примешивался какой-то неуловимый аромат тонких духов. Около его двери аромат этот овеял его дурманящим облаком, и когда дрожащею рукою потыкав ключом, он отпер дверь, показалось ему, — конечно, это был вздор, — что кто-то юркнул из мрака следом за ним, и даже мягко задела его пола шубы. Когда, зажмурив глаза, хотел он повернуть в своей комнате выключатель, кто-то взял его за руку и шепнул еле слышно: „Не зажигайте“. Наступила таинственная тишина, и только где-то над головой или под ногами раздавались переливы шопеновского вальса.

И опять кто-то шепнул чуть слышно: „Спрячьте меня!.. Скажите... вы не видали на улице человека в синих очках?“

При этих словах захотелось ему закричать от страха, но он понял, что если начнет кричать, то уже не остановится и тогда-то уже наверное сойдет с ума.

А она говорила: „Ступайте посмотрите, не ходит ли он возле дома... ступайте... а меня спрячьте где-нибудь“.

Он провел ее в темноте за занавеску, за которой висело его платье, и вдруг понял, что спит, но как ни хотел — не мог проснуться. Он покорно вышел из комнаты и пошел по темной лестнице, шаря мрак и боясь наткнуться на гладкое стекло круглых очков. Снег, недавно падавший тихо и отвесно, теперь мчался куда-то с бешеной быстротою. Он притаился в нише некогда роскошного подъезда, и когда из белого мрака появился человек, тоже весь белый, Петр Алексеевич протянул в ужасе обе руки, защищаясь. Человек быстро снял шубу, кинул ее гражданину Мечтателю и крикнул:

— Товарищ! Не убивайте! Жена, дети!

Голос был знаком.

— Иван Данилович?

— Как? Что? Фу! Ну и напугали же! Давайте скорей шубу! Озябну!

— Скажите, — начал Петр Алексеевич, — он хотел спросить: не проходил ли тут человек

в синих очках, но ему тотчас стало неловко, как бывает после сна, когда спрашиваешь и тут же вспоминаешь, что это только снилось (Но когда же он проснулся?). — Скажите... как ваши поиски?..

— Ни черта! А где-нибудь валяется! Фу! До сих пор сердце бьется!.. Кстати, вам в домовый комитет не нужно? А то я иду. Такой декрет откопал! Умоются!

Он побежал в соседний подъезд.

Петр Алексеевич на всякий случай оглядел переулочек и, никого не увидав поблизости, пошел снова наверх. Ему вдруг жалко стало, что все это был лишь сон! Вдохнув и ясно сознавая, что не спит более, он вошел в свою комнату и зажег свет.

Человек в синих очках сидел за столом и смотрел на него насмешливо. Гражданин Мечтателев ахнул и прислонился к стене.

— Pardon, — сказал гость, — я испугал вас... В эпоху керосина не было неожиданных переходов от мрака к свету, и поэтому люди были спокойнее. Я пришел к вам за маленькой справочкой. Дело в том, что одна особа похитила мой чемодан... Так вот я подозреваю, что она скрывается у вас! Да вы не думайте отмолчаться. Потому что, видите ли, *mon très cher*, у меня есть данные (он понюхал воздух). — Во-первых, этот запах, а во-вторых...

Он указал в угол комнаты.

Там стоял чемодан, обклеенный квитанциями всего мира, а под ним чернела лужа растаявшего снега.

Человек в синих очках взял чемодан, подошел к Петру Алексеевичу, хлопнул его по плечу и сказал:

— Надо быть хитрее!

Он ушел. Скоро внизу хлопнула входная дверь, словно выпалили из пушки. Гражданин Мечтателев, все еще дрожа, глядел на ситцевую занавеску. Она не шевелилась. Не умерла ли притаившаяся за ней таинственная воровка? Он тихо подошел и приподнял ситец.

За занавеской никого не было.

ГЛАВА IV.

В это время глаза кормчего не стали являть ему ничего истинного; все небо двигалось по новым законам; самая земля изменилась.

Ф е н е л о н. „Страствования Телемака“.

Было утро, и кто-то стучал в дверь все громче и громче. Гражданин Мечтателев приподнялся с ковра, на котором вчера нето уснул, нето упал, потеряв память, и при свете дня уже не так робко крикнул:

— Кто там?

Это был Иван Данилович. Он вошел, потирая руки, и вид имел торжествующий.

— Вчера,— сказал он,— прихожу в домовый комитет...

— В домовый комитет? — воскликнул с ужасом Петр Алексеевич, а сам подумал: „или я и теперь еще сплю, или я с ума сошел!“

— Ну, да,— повторил Иван Данилович, — помните, после того, как вы у меня еще шубу того... хе-хе... А ведь я, вы знаете, чуть не умер со страху! Боюсь, не прохватило ли!.. Да-с... Так вот-с, прихожу я, а на меня секретарь: на каком основании у вас площадь, да не такая кубатура и чорт его знает что... Я молчу, словно эдак подавлен... Потрудитесь, говорит, уплотниться! Я бы, говорю, сам рад уплотниться... мне, говорю, скучно даже одному жить, да по декрету не могу. „По какому декрету?“ А вот извольте-с... „Лица, признанные врачебным осмотром психически ненормальными, но не опасными для окружающих“ и т. д. Тот на дыбы! „Да вы нешто ненормальный?“ — Ненормальный, но не опасен для окружающих! А у меня свидетельство (он с гордостью развернул бумажку), в Екатеринославе выдали... Там меня в участок забрали... А я не знал, что за ночь власть переменилась, да и говорю: „Помилуйте, ваше превосходительство, служил верой и правдой царю и отечеству“. Те посмотрели: „А старичок-то,

говорят, рехнулся“... И выдали мне бумажку. С тех пор и живу по безумному виду!

Петр Алексеевич посмотрел на него и повторил машинально:

— По безумному виду?

— Да-с... А что это вы какой-то странный?.. Уж вы, батенька, вчера не хлебнули ли грешным делом?.. И пахнет у вас как-то подозрительно...

— Почему?

— Да так... духами какими-то... одеколоном!..

Когда он ушел, Петр Алексеевич долго стоял, прижавшись головою к стеклу, и смотрел на московские белые крыши. Бывают страшные, нехорошие сны, в которых как бы случается нечто таинственное: приходит и рассказывает о своей смерти недавно умерший друг, сама собою бесшумно растворяется и, никого не впустив, затворяется дверь. После таких снов на сердце остается тоска, — тоска по нарушенным законам жизни. Все, что произошло вчера, было необъяснимо, связь вещей имела пробел, словно на световой рекламе не вспыхнули почему-то некоторые буквы, и никак нельзя прочесть слова. Петр Алексеевич оглядел комнату. Все стояло на своем месте. Стол, шкаф с посудой, постель, фикус. А все что-то не то. Уходя на службу, он едва не скатился с лестницы, так слабы стали его ноги.

Уже стемнело, когда покинул он роскошный особняк, волею судеб превращенный в гигантскую канцелярию. Он шел задумчиво по снежным улицам, и какая-то боль сверлила его мозг так, что иногда хотелось вырвать из него что-то нудное, словно ноющий зуб. На одном перекрестке он остановился, не зная, куда дальше идти, и вдруг увидел, что стоит он на углу Плющихи и того переулка, как будто со вчерашнего дня он и не уходил отсюда вовсе.

Первый.

Третий.

Он остановился возле развалин с лестницей, ведущей в пустоту, и поглядел на черные ямы подвала. Про такие подвалы ходила по Москве страшная молва. В них таились воры-призраки в белых саванах, с лицами, дышащими огнем. Здесь находили в мешках голые трупы с непристойными словами, вырезанными и выжженными на коже. Находили девушек, нашедших смерть от того, о чем мечтали они в летние ночи, как о счастья. Казалось, что эта усыпанная кирпичами пропасть и есть та бездна, заглянув в которую, или умирают тут же со страха, или молча всю жизнь тайно качают вмиг поседевшей головою. Петр Алексеевич подошел совсем близко

к черной дыре. Кирпичи вдруг мягко осыпались под ним, и он сполз в темную глубь, где тихо было, как в могиле.

— Что за чорт? — произнес недалеко грубоватый голос, который был как будто знаком.

— Собака, — отвечал другой шопотом.

— Хорошо, ежели собака, — пробормотал первый. — Собака и есть!

Последние слова произнес он, когда во мраке в самом деле раздался грустный и протяжный вой пса, забредшего сюда в поисках смрадной пищи.

— Кш! — крикнул кто-то и кинул в мрак кирпичем.

— Так ты мне скажешь, куда ты его сунул?

— У тебя карман есть?

— Есть!

— Ну, так держи его шире!

— Сволочь!

— Не ругайся!

Наступила тишина.

— А здесь, — спросил опять второй все так же хриплым шопотом, — ничего не пропало?

Послышалось, словно разрывали кирпичи:

— Так не скажешь?

— Говорю, держи карман шире!

— Ладно, ладно, голубчик, мы с тобой еще потолкуем...

— Что ж, я не прочь с хорошим человеком по-толковать! Тфу! Простудился... горло перехватило!

— Ладно, ладно...

Первый умолк, и чувствовалось, что ярость вскипает в нем.

— До дому! — сказал он грубо.

Зашумели кирпичи, посыпался песок, и опять тихо стало, как в могиле.

Гражданин Мечтателев сидел, все еще боясь пошевелинуться. Кто-то тихо крался к нему из мрака... все ближе, ближе... Вот замер над ним кто-то, и дыхание, как во сне, коснулось его щеки. Он вскочил и опрометью бросился из подвала, а сзади него шарахнулся в страхе и заворчал обманутый пес. Улица вся была испещрена вспыхивающими и тающими звездами, как будто зажгли сотни и тысячи римских свечей. Снег был тоже какой-то пестрый. Ноги вязли в нем и словно прилипали к чему-то...

„Эй!“ — кричал он, но вместо крика получался беззвучный шопот. Широкая Плющица забелела вдруг, и рядом с собою увидал он лисий воротник и шерстяной платочек.

— Не хочу Керчи! — хотел он крикнуть, но Плющица вдруг повернулась, как гигантское колесо, а голова лопнула со звоном, из нее, как языки пламени, вырвались на мгновенье и погасли спутанные в огненный клубок мысли.

ГЛАВА V.

Ее рогов златоспянный бред
Лежит на мне...

Л. Остроумов.

Он стоял на палубе огромного парохода и глядел кругом, а кругом была только ослепительная чешуя океана, и солнце пекло так, что лучи, как раскаленные иголки, пронзали череп. А вокруг него вся палуба полна была людьми, и все эти люди были друзья или знакомые, или те, с кем он хоть один раз встретился в жизни.

И вдруг тоскливый ужас охватил его. Он обернулся и увидел на черной трубе надпись белыми, огромными буквами:

„ТИТАНИК“

О чем же все они думали, когда садились на это проклятое судно? Он хотел предупредить всех, но кругом вдруг не оказалось никого, огромная палуба была пуста, а небо быстро, как в театре, темнело. Он побежал вниз, но все каюты были пусты. Он опять выбежал на палубу.

Море было гладко, как черное зеркало, облака замерли неподвижно, а между тем вдаль навстречу мчался на полных парусах странный, старомодный корабль, окутанный легким туманом. Человек в синих очках вдруг появился рядом. Он указал на странный корабль и проговорил спокойно:

— „Летучий голландец“.

— Что же это значит? — хотел спросить, но только подумал Петр Алексеевич и, предчувствуя ответ, оцепенел от страха.

— Это значит, — ответил тот, — что, пожалуй, придется прибегнуть к физиологическому раствору.

Тогда Петр Алексеевич приподнялся на измятой простыне и проговорил умоляюще:

— Вы понимаете, я не могу жить так, как все! Я задыхаюсь в рамках повседневности (т.-е. это я, конечно, банально выразился)... Ведь я бы мог быть вторым Фаустом... нет... я хотел сказать — вторым Гете... Любви я хочу тоже особенной... За последнее время меня преследует одна красавица... Да слушайте же меня, чорт вас побори!

И опять рядом никого! Он лежит навзничь на горячем песке бесконечной пустыни и куда ни двинется, все глубже и глубже его засасывает песок... Вот уж и руки, и ноги, и тело до половины в горячем, мягком, как бархат, песке.

— Имейте в виду, — говорит человек в синих очках, — под вами слой песка глубиною в сто верст. Вы будете погружаться в течение многих веков! Давно умрут все, знавшие вас, а вы все будете медленно погружаться, пока не достигнете дна!

— Но сознавать-то этого я не буду? — кричит в ужасе Петр Алексеевич.

— Вы, главное, не вертитесь!

Правда, соображает он, чем больше вертишься, тем скорее погрузишься. Вот уже в рот попал проклятый песок.

— Запивайте, запивайте,— говорит кто-то: — ну, глотайте!

Он глотает песок и давится. Проклятый песок! В углу комнаты стоит окутанная газетой лампа, тени на стенах большие и причудливые. Кто-то тихо, бесшумно начинает отворять дверь. Входит довольный миром человек в шапке с ушами до колен и о чем-то шопотом говорит с одною из теней. Тень машет рукой. Тогда он вдруг хватается фикус, но тень кричит, кричит и Петр Алексеевич, кричит и с головой погружается в песок. И слышит, как словно в темноте подвала кто-то говорит: „Ладно, ладно“, а когда на секунду опять высвобождает голову, то видит, как все та же тень о чем-то шепчется с Иваном Даниловичем. Петр Алексеевич хочет спросить его про железную дорогу и не может, ибо вся грудь забита песком. Тогда он, зажмурив глаза, быстро начинает погружаться в песок, а в углу все горит окутанная газетой лампа, и одна из теней, сойдя со стены, медленно крадется к его постели. Натянув на голову одеяло, он уже не погружается, а стремглав летит в пропасть, а перед глазами расплываются в темноте всех цветов, как в павлиньем хвосте, пятна.

Когда однажды Петр Алексеевич открыл глаза, в его комнате было тускло, как бывает в сумерки в конце зимы. Розовый луч покрывал стену паутиной... У стола сидела девушка с голубыми глазами и, казалось, дремала.

— Пить! — хотел крикнуть и вместо этого прошептал Петр Алексеевич.

Девушка встрепелась.

— Уж вы молчите, — сказала она, — вам говорить не хорошо. Пить хотите? Я сейчас принесу, вода у меня в кухне за окошком стынет.

Когда она вернулась, гражданин Мечтателей спал так мирно, что ей даже показалось, не умер ли он. Но всезнающий Иван Данилович, войдя в комнату, прислушался и объявил, что тот, кто дышит, не может быть мертвым. Уходя он заметил:

— Это он не иначе, как на „Максима“ подцепил! Ох-ох-ох! Ну, да ничего! Говорят, через две недели все кончится!

ГЛАВА VI.

Всего осмотрели, особых примет на теле и роже, как кажется, нет.

Из старого водевиля.

Ясно было утро того дня, когда окончательно и бесповоротно проснулся гражданин Мечтателей. В окно видно было синее небо с весенними облаками и мелькали на его фоне алмазные, со стуком

на подоконник падавшие капли. Ему казалось, что беспредельно раздвинулись стенки его черепа и мысли, ясные, как огромные облака, свободно парили от одного лазурного края до другого. Он заметил, как чисто и аккуратно было все кругом прибрано, увидал, что ситцевая занавеска теперь отделяла угол комнаты, и необыкновенно спокойно стало у него на душе. Когда прошло много дней, и он уж мог сидеть, опираясь на подушки, он спросил, как она нашла его.

— Вы упали почти рядом со мной на улице,— ответила она,— прямо в снег... Хорошо, что вы еще не расшиблись...

Он вспомнил. Из черной бездны протянулись кривые рога бреда, и потемнело весеннее небо. Сердце забилось вдруг при воспоминании о „той“, и опять страшно стало от необъяснимых тайн, словно не в уютной комнате, а в глубине темного подвала сидел он, слушая непонятные речи. Он с мольбой посмотрел в голубые глаза. Сказать или нет? А, может быть, все это был только бред?

— Я ужасно беспокоилась,— сказала девушка,— боялась, чтоб не умерли вы...

— Ну, а если бы я умер?

— Мне бы вас было жалко!

— А помните, вы сказали, что неудобно к мужчине девушке приходиться?

— Вы больной! Поправитесь, я и уйду!

— Куда же вы уйдете? — Он вспомнил дом, от которого остался один номер.

— Куда-нибудь!

— Лучше уж давайте жить вместе!..

Она покраснела и насупилась.

— Ну, куда же вы пойдете?..

— Куда-нибудь!

— Вас первый же встречный обидит...

— Не обидит... у меня тут батюшка знакомый — керченский!

— Есть сельди такие — керченские.

— Это совсем другое!

— В вас влюбится злой человек и обидит.

— Злой не может влюбиться!

— Ну, просто так, поиграть захочет!

— Я не игрушка...

— С такими глазками жить опасно! Ах, какие глазки!

— Да, все говорят, очень большие...

А он смотрел на нее и старался не вспоминать о той, с душистыми волосами...

* * *

В огромных, голубых от неба лужах отражались церковные вербы. Гражданин Мечтателей в первый раз вышел пройтись один, оставив девушку предаваться предпраздничной уборке.

— Вот приберу все,— сказала она,— вымету, кулич вам испеку, разговееюсь с вами и уйду, потому что со здоровым человеком девушке в одной комнате жить стыдно.

Он шел по весенним, в тени еще морозным переулкам, слушал пение петухов, и так задумался о чем-то непонятном, но радостном, что не заметил, как дошел до того переулка. Из него вдруг с воем выкатился и брызнул во все стороны водою большой, черный, совсем не страшный при весеннем солнце автомобиль. В нем между двумя витязями в остроконечных шлемах сидел человек в белой шапке с ушами до колен, но он глядел хмуро и не был на этот раз доволен миром. Автомобиль выпрямил ход и быстро, весело помчался по рельсам. Какое-то воспоминание больно сдавило грудь. Гражданин Мечтателев огляделся. Здесь впервые увидал он „ту“ сквозь пелену тихо падающего снега. Ему почудилось, что он снова вдыхает тонкий аромат, и голова его — верно, от слабости — закружилась... У развалин дома стояла толпа народу. Все смотрели в сырые теперь дыры подвала, откуда выходили и снова входили в них милицейские.

— В чем дело, товарищ? — робко спросил Петр Алексеевич.

Солидный мужик, видно, из бывших охотно-рядцев, сурово поглядел на него.

— Труп найден мертвый... Тело...

Тогда он увидал: из-под дырявой рогожи торчали в снегу изъеденные собаками и словно изрезанные ножом ноги. Они были крепко связаны веревкой.

— Должно быть, пытали его,— заметил один из тех, которые все понимают.— Сначала муку причинили, а уж потом и порешили.

— Это у них в моде!

— Ребята, а ребята! А кого ж это на автомобиле поволокли?

— Убивца!.. На чердаке его словили, на том вон дворе.

— И врешь, и не на том, а в шестом номере!

Милиционер вышел из подвала и положил на рогожу синие очки... Другой вынес чемодан, обклеенный квитанциями всего мира.

— Пустой?— спросил некто начальнического вида с записной книжкой в руках.— Да расходитесь вы, граждане!..

Из чемодана вынули смятую женскую шубу, кудрявый парик, шапку, обшитую пестрыми квадратиками...

Как на световой рекламе, вспыхивая, заполняют буквы ночной мрак, так внезапно заполнились почти все пробелы.

Это, стало быть, был просто водевиль с переодеваньем, но с трагической развязкой. Добрые

старые законы жизни утвердились и явились во всей своей незыблемости, как туман, разлетелся по ветру бред. Одна буква не вспыхивала. Зачем нужно было это таинственное ночное посещение? Он шел и радовался тому, что может безбоязненно рассказать ей все это. Как хорошо! Словно после долгой, долгой дороги подходил он к родимому дому. Все мечты, все океаны и все смуглые, как бронза, любовницы остались там, по ту сторону бреда.

Так просто, оказывается, и хорошо жить на свете! И так прекрасен и волнующ этот с голубыми лужами и с черными грачами переулочек. Когда он вошел в комнату, девушка в переднике и с волосами, повязанными желтым платочком, мыла фикус. Он вдруг вспомнил.

— А что, — спросил он, — приходил тут, когда я был болен, человек в такой белой шапке?

— А как же!.. Я рассказать вам забыла. Такой дерзкий. Пришел по ошибке мебель покупать. А мебель над нами, у Нарышкиных продается... и пристал... продай ему фикус... Невесте подарок. А разве я могу? Вещь не моя... Продашь, а вы после ругаться будете...

В дверь постучал Иван Данилович.

— Самовар ваш вскипел, — сказал он, и девушка побежала в кухню.

Тогда Петр Алексеевич быстро подошел к фикусу. Он запустил пальцы в сырую землю и вынул

маленький, твердый комочек земли. Он поколупал его на ладони. Да! Здесь таится и синева океана, и жаркие ночи, и смуглые, как бронза, любовницы. Неужели опять стремиться куда-то, метаться, презирать эти так чисто вымытые стены и двери! И вдруг ему вспомнилось: „Но, увы, золою черной станет камень настоящий“. Послышались шаги. Это девушка несла самовар. В комнате стало совсем темно, но гражданин Мечтателей сказал ей:

— Не зажигайте огня.

— Вот уж не понимаю, что за радость в темноте сидеть!

Но подчинилась, как больному.

Самовар тихо шипел и добродушно скалил оранжевые зубы. Он подошел к девушке и спросил ее:

— Хотите быть моей женой?

Та молчала, что-то обдумывая.

— Ну, что ж, — ответила наконец, — вы интересный и серьезный!

Он хотел обнять ее.

— Подождите, чашки разобьете!

Пока она ставила на стол чашки, он быстро приотворил печную заслонку и кинул на горячие угли комочек. Он глядел, как тлели в красном поле соблазны, преступления, прекрасные, ах, какие прекрасные возможности! А она в это время уже подошла к нему и спросила тихо:

— А вы меня не обманываете?

Слышно было, как за стеною сам с собою рассуждал Иван Данилович:

— Ну, вот, покушали кашки да и на боковую!

Он хотел сказать этим:

— „Господин! Великий Тотемака да простит мне мою дерзость, но время объятий наступило!“

И когда Петр Алексеевич обнял девушку, она не сопротивлялась, а только спрятала голову на его груди.

А за окном, через которое отныне предстояло ему созерцать великий мир, вспыхивали одна за другою весенние, морозные звезды.

ПИСЬМО.

Вернувшись со службы, я нашел на двери своей комнаты приколотую записочку:

„Милый друг! Очень бы хотел повидать тебя. Заходи. Мой адрес: Анастасьинский, девять.

Твой Баранов“.

Я не знал никакого Баранова.

— Послушайте,—сказал я соседу,—может быть, это к вам записка от Баранова?

— От Козлова, может быть?

Он тоже не знал Баранова.

Но Баранов мог ошибиться домом, квартирой, улицей.

Чорт его знает, чем мог еще ошибиться Баранов!

Пушкин сказал однажды, что все русские ленивы и не любопытны. Но я русский только наполовину, моя мать была полька. Поэтому я ленив, но любопытен.

Таинственный Баранов жил в маленьком одноэтажном домике. Я хотел было уже стучать, как дверь вдруг сама растворилась, и какая-то женщина, закутанная в ковровый леопардовый мех, прошла мимо меня, поглядев на меня удивительно знакомыми глазами.

— Гражданин Баранов дома? — спросил я.

Она молча кивнула и пошла, наклонив голову и кутаясь в пятнистую шкуру. И походка ее была тоже удивительно знакома.

Очутьившись в темных сенях, пахнущих капустой, я громко сказал:

— Гражданин Баранов.

Послышались поспешные шаги, и безусловно знакомый человек появился на пороге. Но кто?

— Как хорошо, — вскричал он, — что вы пришли! Я так боялся, что наши добрые отношения не возобновятся. Мне тяжело было думать, что в дни величайшего моего счастья кто-то чуждается меня и избегает встреч со мною.

— Неужели вы могли так думать! — воскликнул я, пожимая ему руку, а сам думал: „где, черт возьми, я его видел?“

Комната была мала, но опрятна, шкафами были отгорожены две непарные постели.

— Итак, — сказал он, — я теперь женат.

— Что вы говорите? На ком? — воскликнул я, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— На ней!

— Ага!

— На Сонечке! На Софье Александровне!

Словно вспышкой магния озарилось вдруг прошлое.

Я вспомнил зимние (мирного времени) дни, санки, лиловые цветы и девушку с глазами... которые только что смотрели на меня из леопардовой шкуры. Вспомнил я и Баранова. Он уже и тогда считался ее женихом, но почему-то свадьба все расстраивалась. Я вспомнил даже няню девушки, которая говорила: нынче жених хитер да лих, ему про венец, а он про ларец!

— Вы знаете,— кричал Баранов, беспрестанно вскакивая и снова садясь,— все эти годы я жил, как все жили! Я скитался по всей России, болел тифом... потом... Хотите, я вам расскажу все подробно?

— Конечно!

— Я в Сонечку влюблен с одиннадцатого года... Всякие эти прогулочки по переулочкам, балы да театры. Любил ужасно. Можете себе представить— я— химик— к гадалке ходил. Ревность. Ко всем ревновал. К вам тоже. Ведь вы тогда молодец были...

— Ну, уж ко мне...

— Был, говорю, в исступлении! Наконец, сделал ей предложение. Отказ, при чем сама чуть не

в обморок... А тут война, а тут революция — одна, другая. А потом всех москвичей разогнали по всему миру. Пора, кажется, было бы образумиться, так нет. Еду, бывало, в теплушке и о ней мечтаю. А где она? Найди-ка! Ну, вот. Иду я раз вечером — дождь был, снег мокрый, — вижу, какая-то женщина к стене записочку приклеила. А тут издали автомобиль всю улицу осветил. Оглянулась — Сонечка! Можете себе представить, что я испытал! Меня не видала! Ей фонари прямо в глаза. Когда автомобиль проехал, ее уже не было. Я подошел к записке, зажег зажигалку и прочел:

*Продается: самовар,
шкаф,
бюро красного дерева (старинное).*

А как раз у этого бюро происходило наше решительное объяснение. Чудесное бюро. Я, конечно, всю ночь не спал. И жила-то она (адрес был указан) совсем близко! Должен сказать, что убожество ее наряда поразило меня. Сам я, дурак, не пошел — из гордости. Все-таки... после отказа... (Тут Баранов понизил голос). Сосед мой, спекулянт, покупает всякие предметы и со мною советуется, как с бывшим человеком. Ну, я и посоветовал ему купить бюро. Надо было поддержать ее... Вечером возвращаюсь домой — на санках у подъезда — оно самое! Сердце у меня так и запрыгало. Очень я взволновался!

Спекулянт в восторге. По дороге три человека продать просили, и какой-то бывший князь похвалил. Звал смотреть. Я сказал, что найду после... неприятно все-таки, знаете... У него всякие сомнительные дамы бывают, а тут это бюро! Вдруг сам он ко мне стучится. „Смотрите, говорит, что я в бюро нашел“. Вижу — ее рука... Читаю... Да вот оно... Выпросил в награду за рекомендацию хорошей вещи. Прочтите-ка.

Я прочел:

„Не знаю, решусь ли послать это письмо. Люблю вас, но когда вижу вас, говорю совсем не то. Вчера я сказала вам „нет“. Не верьте... Не судите. С“.

Баранов весь дрожал от волнения.

— Вообразите, что со мной сделалось! Она, значит, тогда, глупенькая, мне по скромности девичьей отказала, а я, идиот, чем постепенно ее к этой мысли приучить, обиделся и порвал! Ну, думаю, надо исправлять... Пошел по адресу... и видите... (он счастливо рассмеялся) исправил...

— Я сейчас встретил в дверях Софью Александровну и, признаться, не узнал!

— Переменилась? Ну, еще бы! Ведь что, бедняжка, перенесла! Она вас помнит... Что-то не идет...

Ему было, очевидно, приятно беспокоиться о жене.

— Хотите, — сказал он вдруг, — бюро посмотре́ть? Сосед сейчас дома. Старину вспомните!

Чтоб сделать ему удовольствие, я согласился.

Но в тот миг, когда мы постучали в дверь к соседу, на „парадном“ звякнул колокольчик.

Маленький толстяк отворил дверь на стук, а Баранов побежал отпирать жене, крикнув: „Познакомьтесь: Баранов, Громов“.

— Стариной увлекаетесь? — спросил Громов, подводя меня к бюро. — Как не увлечься. Вы смотрите, как они, сукины дети, умели фанеру обдeldывать. Да теперешний столяр десять раз, извините, в уборную сбегает, а такого лаку не наведет. А ящиков сколько. Сегодня весь хлам из них выгреб.

Я вздрогнул. На одном конверте увидал я свое имя и фамилию: „Алексею Павловичу Трохимову“.

— Откуда этот конверт?

— А это тут было письмо... Я его отдал господину Баранову... Какое-то послание любовное. А вот, взгляните — вазочка. Китай!

Я сунул конверт в карман, сказав:

— Позвольте взять на память о знакомстве!

— Идем чай пить, — сказал Баранов, — Соня пришла. У нас есть глюкоза. Зайдете?

— Нет, — сказал Громов, — у меня делишки.

— Все делишки.

— А как же! Детишкам на молочишко.

Сонечка очень приветливо отнеслась ко мне. Я с любопытством на нее поглядывал, но решительно не замечал в ней даже никакого смущения. Уютно было сидеть за столом со счастливыми людьми и вспоминать счастливое прошлое.

В тот день я возненавидел свою комнату.

„А счастье было так возможно!“

Через несколько дней я опять пошел к ним. Та же история — чай и счастье. И в ней, в ней никакого сожаления.

Дура! Ну, почему, почему тогда не послала письма?

— Кстати,— сказал Баранов,— сосед говорил, что ты взял конверт от того письма...

— Да, я взял, хотел тебе передать и забыл...

— А где же он?

— Потерял.

— Ну, вот. Но он-то, дуралей, не прочел, что ли, фамилии?

— Там было много всяких бумажонок.

— Да оно и лучше. Я от него историю эту скрываю. Не для его мозгов.

Мне показалось, что Сонечка чуть-чуть покраснела. Я поглядел ей в глаза, желая пробудить между нами хоть романтическую близость. Но она повела носиком и с таким самодовольным обожанием поглядела на мужа, на глюкозу, на самовар, что я почувствовал злую зависть.

— Жалко, что нет конверта!

— А вот пустой конверт. Уж если тебе так хочется еще раз убедиться в своем счастье, попроси Софью Александровну написать на нем обращение.

— Что ж! А, Сонечка, напиши.

И он довольно рассмеялся, когда Сонечка, respectfully и неодобрительно поглядев на меня, написала:

„Ивану Петровичу Баранову“.

Он смачно поцеловал ее. Она отстранилась, покраснев, но не потому, чтоб ей неприятен был поцелуй, а стесняясь меня. О, лишь бы я ушел! Уж они нацелуются! Во мне закипело.

Когда мы простились, и он уже хотел запереть за мною дверь, я вдруг сказал:

— А! Вот! Я нашел и оригинал конверта.

Я вынул из кармана конверт, сунул ему в руку и ушел, не оборачиваясь. Больше я с ними не виделся.

ЛЮБОПЫТНЫЕ СЮЖЕТЦЫ.

Так как все кругом было занято, он попросил разрешения сесть за мой столик и в благодарность решил угостить меня пивом.

— Тройное золотое! Расплавленные червонцы! Золото внизу остается, а бумага всплывает в виде пены! Эмблема для Госбанка! Гениально!

Он оглядел пивную.

— Мало интеллигентных лиц! Все больше первый и второй убийца! Вы, вероятно, служить изволите по просвещению?

— Я — литератор.

— Скажите! И так мило одеты? А у меня с детства литература в воображении сочетается с заплатами... Впрочем, о, tempo, о, mores, или, как у нас один на экзамене перевел: „что город, то норы“. Сюда ходите, вероятно, на предмет вдохновения?

— Да нет, знаете, просто приятно в жару бутылочку...

— О, разумеется. И учтите, что нынче в пивных гущина быта. А если подойти к иному да расспросить... Гофман, Эдгар По! Романтика такая, что беги домой, успевай записывать!

— А вы тоже писатель?

— Ни в какой степени. Вдохновения хватает только на поэму такого рода: „В ответ на отношение ваше за номером... от числа... настоящим сообщая“... Но наблюдать обожаю и любопытен, как любимая жена шаха персидского. Вот, например, сидит в углу парочка. Она — порождение времени. Обратите внимание на юбку. Вопреки закону тяготения ползет вверх без посторонней помощи. На один миллиметр в секунду. Зато чулки, сами видите, не из мочалы. Но она — это чепуха! Героиня водевиля: „Легковерный муж или жена зарабатывает“... Но он... Вы и не угадаете никогда. В Рогожско-Симоновском районе нищий есть, весь в дырах, головой трясет, как известного рода игрушечные слоники. На груди чашечка и надпись: „Подайте никогда не выдавшему солнца“. Недурно? Так вот это и есть „никогда не выдавший солнца“. Удивлены? еще бы... Пиво и то от удивления вспенилось.

— Тут, видите ли, тонкая психологическая штука. Весь год нищенствует, в ночлежке спит, из мусорной ямы добывает себе пропитание. Ничего не имеет, кроме некоего таинственного запертого ящика. Триста шестьдесят четыре дня унижается

и головой трясет. На триста шестьдесят пятый день из таинственного ящика достает самый этот дымчатый костюм, шляпу, ботинки, галстук — одним словом, человеческий облик — и на накопленные деньги в течение суток царствует... Веселье, любовь, во всяком случае все, что при любви полагается. Даже нищим, можете себе представить, подает! В этом районе никто его не знает! А завтра опять: подайте никогда не выдавшему солнца! Целый год в один день втискивает! Махровая затея! Когда-то, говорят, был художник, т.-е. не то, что художник, а ценитель всего прекрасного!

Человек в углу пощелкал по бокалу, положил и разгладил на скатерти серенькую бумажку, сдачу не взял, вместе с дамой растаял во мгле двери. Оркестр румын послал им вслед несколько чувствительных вздохов. Собутыльник мой задумчиво озирает пивную.

— Но если угодно вам прослушать поистине удивительную историю... гражданин человек! Еще пару пива!.. Извините, это мое дело, я угощаю. Так вот! Сплошной Альфонс Додэ! Изволите видеть этого красавца, который на эстраде сейчас изображает всякие штуки? Все представляет, начиная от гудения примуса и кончая голосом любого из публики! Ничего не поделаешь. Жена, дети! Подрабатывает, Так с ним случилось недавно необычайное

происшествие. Вы, может быть, недовольны, что я похищаю у вас время, а, следовательно, деньги?

— Пожалуйста, наоборот, очень приятно!..

— Даже приятно? Тем лучше! Правда, сюжетцы прелюбопытные.

После сеанса, когда пивная почти уже опустела, подходит к нему некий человек такого княжеского вида и предлагает пива... очень, говорит, высоко ценю ваше искусство. Сели. Выпили. Вдруг этот самый князь и говорит: „Хотите, говорит, заработать сто золотых монет? Не бумажных, а настоящих, с изображением „Николая Кровавого“? Еще бы не хотеть! Мой артист еще из ума не выжил. Князь ему говорит: главное, иметь желание заработать. Желание есть? Отлично. Дело, говорит, в следующем: у меня есть отец, впавший в слабоумие на почве потери горячо любимого сына. Убит на деникинском фронте — белый офицер. Отец после смерти моего брата не ест и не пьет, все ждет переворота. Уверен, что тогда и сын его вернется.

Артист в недоумении: „Я-то тут при чем?“

— При очень даже многом! Перед самой революцией отец в нашей усадьбе бывшей зарыл в землю ящик и в нем три тысячи неизвестных каждому желтых кругляков. Знаем, что зарыл около одной липы, но лип там до пятидесяти с каждой стороны аллеи... Парк не вспащешь!

Колхоз засел. Старик же никому сказать не хочет. Это, говорит, для Пети, Петя вернется после переворота и все получит. Вы, говорит, предатели, вы, говорит, из моей подкладки бантиков понаделали (мой отец генерал отставной), а Петя голову хотел сложить за монархическую идею! Теперь взгляните на эту карточку.

Мой артист посмотрел — он сам! Только усы длинные и гусарская форма.

— Понимаете, в чем дело? Мы вас оденем в гусарскую форму старую, подгримируем, и вы явитесь к отцу... А мы подготовим почву относительно переворота, чтобы старик не слишком потрясся. Врите, что угодно! А потом намекните относительно денег. Нужны, мол, для поддержания престола и отечества. Он скажет, где, что, мы и откапываем. От Москвы двадцать верст... Управляющий знаком.

Артист, конечно, взволновался. Заманчиво. Сто золотых при растущей дороговизне и падении знаков! Поразмыслил — как будто подлость! Попросил двести. Сошлись на полтора ста.

Артист всю ночь не спал. С женой полтора ста золотых переводил и на фунты, и на доллары, и на дензнаки. Всю бумагу исписали в доме. На другой день является по указанному адресу (между прочим князь оказался князем только с виду, но все-таки обстановочка старинная, кресла с завитушками и всякая фарфоровая дребедень)...

Встречают его с волнением. Вчерашний соблазнитель и супруга. Переодели в гусарскую форму; от волнения забыли, что при даме переодеваться неприлично. Орден нацепили с мечами и с бантом. Усы подклеили, пробор пригладили. Живой портрет.

— Голос, — говорит, — у брата был совсем, как мой. Изобразить можете?

— Еще бы! Любого из публики изображаем.

Оказывается, старику уже вчера вечером намекнули на события. Объявили, что в Москве неспокойно. Он всю ночь не раздевался — молился. Утром позвал сына и невестку и рассказывал, как Плевну брал. С балкона на Кремль смотрел, нет ли штандарта. Артиста оставили в соседней комнате, а сын пошел к отцу. За стеной слышно:

— Ну, папа! Не знаю, как тебе и сказать.

— Ну, ну!..

— Уж очень хорошо...

— Говори, говори...

— Власть переменилась...

— А...

— Только ты не волнуйся... Петя...

Тут, по словам моего артиста, в соседней комнате раздался такой вопль радости, что от стыда у него все лицо покрылось холодным потом. Старик, стуча клюкой, бегал по комнате.

— Где он? Где он?

И тут невестка втокнула гусара прямо в комнату. Маленький старикашка, плюгавый, жалкий, кинулся было к нему, потом остановился вдруг и крикнул:

— Дети, творца возблагодарим!

На колени стал и за ним все. Прочел „отче наш“, начал было еще что-то — не выдержал, обнимать кинулся.

— Петичка вернулся, Петичка, и с орденом... Смотрите, Владимир с мечами!..

А Петины косточки, небось, где-нибудь в степи, в общей могиле. Спрашивает, а отвечать не дает. Мой артист молчит, будто от радости. А сын за спиной у отца подмигивает: про деньги, мол, спроси. Язык не поворачивается.... Наконец, собрался с духом:

— Папочка, — говорит, — бедна Россия, нужны деньги для поддержания престола.

Старик просиял.

— Есть у меня деньги; есть!

У сына и у невестки от волнения красные пятна по лицу.

— Где же они, папочка?

— Помнишь наши „Листвяны“?.. Ну, так слушай...

И в этот миг вдруг за окном оркестр военный как грянет — Интернационал!..

Старик замер, затрясся... Невестка кинулась дверь балконную затворять. Оттолкнул, кинулся

сам. А по улице шапки остроконечные, красные звезды:

„Мы наш, мы новый мир построим“...

Старик перегнулся через перила, вскрикнул, вдруг перевесился как-то странно, будто кукла, — и с пятого этажа на мостовую.

У красных офицеров кони шарахнулись...

— Да-с! Так вот у каждого из людей за спиной такая фантастика, что, говорю, беги домой, успевай записывать... Извиняюсь... Я выйду на улицу на одно мгновение. Плохое сердце... От духоты головокружение... За шляпой моей последите... Читали, что в газетах пишут по поводу выставки?

Он вышел. Я не стал читать газету. Румыны заиграли отрывочный танец. Мне вспомнились бесконечные ночные степи... Пивной хмель плавал над головами людей серыми дымными змеями. Он не возвращался. Я поднял газету. Моей шляпы не было. Я полез в карман. Бумажника не было. Я полез в другой — часов не было.

Он отнял у меня и время и деньги. Новую шляпу заменил старой.

Шесть пустых бутылок ожидали расчета.

Фантастика!

Через два дня по почте пришли документы.

Деньги же были удержаны.

За любопытные сюжетцы.

ЖУТКОЕ ОТГУЛЬЕ.

Ивану Вавиловичу Пробочкину было необыкновенно приятно. Небо синее, море синее, дорога меж виноградниками белая, жаркая, вдоль дороги кипарисы, пылью напудренные, а из-за каменных оград деревья, будто кровью, черешней обрызганные. Благодать! Благодать!

Иван Вавилович Пробочкин глядел, глядел и вдруг духом умилился, дышать стал всей грудью. Глаз даже слезу источил. Посмотрел на супругу свою — пышная вся, в белом — руки голые, шея голая от солнца лупится.

— Ты дыши, Машенька!

— Я и то дышу. Воздух уж очень хороший.

— Нет! А горы-то? Высотища? А море-то? Я думаю, что нет такого пловца, чтоб море переплыл.

— Еще бы человеку море переплыть! Ты уж скажешь!

— А что, ежели на ту вон верхушку взобраться и сесть? А? Машенька? Я думаю, с нее Крым, как на блюдечке. Пожалуй, еще Турцию видно.

— Ты уж выдумаешь! В такую жару на гору лезть!

— А мне что жара? Сниму рубашку, да и полезу! Кто меня тут осудит!

— Сопреешь!

— Сопрею — высохну! А, Машенька? Полезем?

— Нет уж... Я лучше соснуть пойду... Мне после шашлыка что-то... нудно!

— Хороший шашлык был! Шашлык был, что надо!

— Ты полезай, коли охота... Я, ты знаешь, Веревьончик, тебя не хочу стеснять. А я пойду соды выпью, да и сосну...

Иван Вавилович с умилением обнял пышный стан, будто погрузился в жаркую, умело взбитую перину. Подождал, пока скрылось за поворотом кисейное платье, еще раз оглядел все — благодать! — и полез по узенькой тропочке. „К обеду не опоздай“, — слышалось снизу.

* * *

Иван Вавилович умилялся уже целую неделю; с того мига, когда носильщик, приняв с извозчика подушки, спросил, как показалось, почтительно: „на скорый?“

Тут-то и умилился Иван Вавилович и подмигнул супруге:

— Два года назад меня на этом самом вокзале, как собаку паршивую, пугали — куда прешь, а теперь? Чистота-то... Господи! Смотри, смотри! „Вам на скорый?“ Дожили до времячка!

Поезд был блестящий и гладенький, вагоны зеленые, как огурчики, желтые, как апельсины, на всех аншлаги: „Москва — Севастополь“, а у ступенек проводники важные, в серых куртках, с серебряными пуговицами. Когда прожужжал трегий звонок, вынул Иван Вавилович часы и головой покачал с улыбкой изумленного удовлетворения:

— Чок в чок! А раньше? „Когда поезд?“ „А мы почем знаем! Хочешь ехать, ступай дрова грузить!“ А теперь? Н-да! Вот вам и большевики! Я всегда говорил!

— Ну, уж и говорил! Забыл, как мешки таскал?

— Ну, таскал! Мировые перевороты без эксцессов протекать не могут. Почитай-ка, как французы друг дружке головы рубили... Нет, ей-богу, молодцы... Жалею, что на вокзале бухаринскую книжечку не купил!

Но до слез умилился Иван Вавилович в вагоне-ресторане. За окном степь, вблизи зеленая, вдали синяя, еще дальше лиловая. Вокруг станций ветками в небо тополя, хаты белые, словно мукой вымазаны.

— Ведь вот раньше на этой самой дороге — солдаты, теплушки, мешочники... Корку сухую вынул из кармана, жуй, буржуй, угоднику своему молись... Соль, помню, в кошельке вез. А теперь... Шницель по-венски... Легюм из свежих овощей... Соль „серебос“ какая-то, чорт ее знает! Нет, молодцы... К нам иногда в магазин коммунист один ходит за башмаками... Надо будет поговорить... Я ведь тоже человек идейный... Я не вошь какая-нибудь на общественном теле.

— Фу, Веревьюнчик, за обедом такие гадости.

— А что же? Разве неправда?

* * *

Иван Вавилович вспомнил все это на крутой тропочке. Море с этой высоты казалось застывшим. Он снял рубашку и, почуя, как горячие пальцы солнца ощупали его плечи и руки, опять умилился.

— Хорошо! — молвил он вслух и выше полез и даже пальцами защелкал от восторга.

Кончился виноградник, и тропинка устремилась вдруг под темно-зеленую сень старого лиственного леса. Где-то внизу журчала вода, одна мысль о которой в жару была усадительна.

„Да, — подумал Иван Вавилович, — дождались времячка... В Крым на лето! Ах ты, сукин сын! А как в очереди за спичками стоял, помнишь?

А как доски на чердаке крал, помнишь? История, брат, ничего не пропишешь! Все по марксистскому закону! Помучились и довольно“.

Тут неожиданно очутился Иван Вавилович на уступе, поросшем травой, и ахнул. Внизу, утыканный кипарисами, тянулся южный берег, отделенный от синевы моря белою полоской. Где-то в лазури, словно в воздухе, застыл пароход, и дым от него, тоже застывший, тянулся по всему небу. Отведя от моря восхищенные свои взоры, увидел Иван Вавилович, что не один он находится на поросшем травой уступе. Некий человек, обнаженный, как и Иван Вавилович, до пояса, с кожей, темной от загара, как у индейца, сидел, свесив ноги в пропасть, и жевал серые, будто из пыли испеченные лепешки.

— Тоже природой любуетесь? — спросил Иван Вавилович с некоторой почему-то робостью.

Человек, не спеша, прожевал лепешку и пожал плечами презрительно.

— Чего ею любоваться-то! — пробормотал он. — Море, как море! Ничего в нем такого нету, чтобы им любоваться.

— Ну, что вы... Синева-то какая!

— Ну и что же, что синева?... Мало ли на свете синего... Вон и небо синее...

— И небо хорошо!

— А было бы желтое, хуже было бы?

Иван Вавилович опешил на мгновение.

— Уж мы так созданы, чтобы любить голубое небо.

Темнокоричневый человек плюнул в пропасть и ничего не ответил.

— Вы здешний житель? — спросил Иван Вавилович.

— Теперь здешний, а был тамошний.

— Давно в Крыму?

— Да четвертый год.

— И при Врангеле были?

— Был и при Врангеле.

— Хорошо тут было при Врангеле?

— А чего хорошего? Порядок был! А теперь нет его, что ли?

— Теперь порядок замечательный... Я и то говорю, молодцы большевики.

Темнокоричневый человек опять плюнул в пропасть.

— Были когда-то молодцами! — пробормотал он. — Вы из отдыхающих, что ли?

— Да... приезжий...

— Вот то-то, больно отдыхать стали много...

— Нельзя, знаете... зимой в труде... А вы сами откуда?

— Где был, там и след простыл! Деревенский я... Из орловских! Село Карачево знаете под Мценском?.. Ну, вот оттуда я... В Мценске на

заводе работал, а как пошла мобилизация, расплелся.

— Не скучаете по родине?

— Некогда было скучать... Теперь, конечно, безобразие — скука. Спервоначально с немцами воевал... Я кавалерист... в разведке больше работал. Только это, конечно, была война не настоящая.

— Как не настоящая?

— А так! Порядок был! Все тебе предудказано и предписано. Едешь и знаешь, куда едешь... Туда не могли, сюда не суйся. Разойтись негде было... При Керенском только настоящее дело пошло. Каша пошла тебе такая, что только ешь, похваливай... Все соответствовало... Иначе, как на крыше, и не ездили. Ветерок, прохладно... Иной встанет, не подумавши, ему бац! — голову мостом и снимет. А то в купе ходили масло из буржуев жать. Барышень тискали. Ну, потом в октябре Москву полировали. Только это уж не то... Я человек степной, вольный... У меня рука длинная — мне в городе тесно... Тошнит. Ну, мы опять с ребятами на крышу... Катя, куда глаза глядят. Одного буржуя к себе выволокли — посадили. Был у нас парень — Никитой звали — шалавый человек — гранатой его потом пополам разорвало — так он наставил на буржуя тесак: прыгай, говорит, на другой вагон, а не то столкну... Тот ему деньги... А ему что деньги? Харкнул на них — буржую ко

лбу прилепил. Прыгай! Прыгнул... А Никита за ним! Прыгай дальше... Так до последнего вагона... А там взял да тесаком в бок.

— И что же? — спросил Иван Вавилович, и страшно ему стало.

— Ничего... свалился! Нешто устоишь? Крыша крутая, скользкая... опять-таки качает.

Человек с коричневой кожей грустно задумался.

— А тут опять война пошла... Красные, белые... Тьфу! Ты за кого? А я сам за себя... Мне беспорядку надо! Я степной человек — перекасти-поле. Нет во мне никакой дисциплины. На кой она мне... Взяли мы, да и пошли с ребятами по степи гулять. В балках ночевали... хорошо, вольно! Раз идем ночью... Стой, кто такие? Смотрим, народ твердый, с ружьями... Ах, ёшь твою двадцать!.. Ну, думаем, влопались. Красные или белые? — спрашивают... Ни те, ни другие... Стало быть, зеленые? Выходит, что, пожалуй, зеленые. Приняли нас и объяснили, что ни за кого не идут, а просто бродят... Повстанцы... Большевик попадетя — большевика режут, офицер — офицера... Просто так... для суматохи...

Глаза его из-под выцветших бровей блеснули.

— Хорошо было в зеленых, — сказал он, — я потом в Крым перебрался... В горах оно способнее. Автомобиль, бывало, едет: стой! Предъявляй документы... Иной раз пропустим, а иной раз к ногтю... Большевики!.. Были и они молодцами,

когда Москву горошком посыпали... А теперь? Туда не ходи, здесь не сиди... С крыши снимают... Вот тебе и революция.

— Что же вы и людей убивали? — спросил Иван Вавилович с опаскою.

— А как же не убивать-то? Обязательно убивал. Еще два года назад, как Врангель ушел, убивал... Вот в этом самом лесу убивал.

Он вдруг встал с торжественным и вдохновенным лицом.

— Хотите, покажу, где жил? — спросил он.

Иван Вавилович боялся свою трусливость проявить (не подумал бы, что при деньгах) и потому согласился. „Все равно, захочет убить, так и здесь убьет! Чорт меня на эту гору понес. Сидел бы сейчас у себя на балкончике, припеваючи, мороженое бы ел“. Они пошли по еле видимой, заросшей травой тропе. Камни, встревоженные их ногами, с шумом катились в крутую бездну, и чем выше они поднимались, тем дичее и величественнее становился лес. Темные заросли скрыли внезапно дадь, и от горных впадин пахнуло гнилью и сыростью. Человек с коричневой кожей раздвинул кусты. Обнаружился узкий черный лаз, ведущий в пещеру.

— Вот где жил! Хорош домик? Давно уж не был тут! Засыпало... может, еще пригодится...

И он начал швырять вниз желтые, дождями смытые со склонов камни. Один, круглый и

блестящий, осмотрел он со вниманием, поколупал и кинул к ногам Ивана Вавиловича, в страхе отпрянувшего. Изъеденный червями череп задел носки его башмаков и покотился в пропасть.

— Офицер врангелёвский, — пояснил человек с коричневой кожей, — все равно ему бы при красных не прожить... А мне о ту пору обувь была нужна... Обносился... Да, было времячко! А теперь куда я пойду? Я человек вольный. Мне воевать нужно. Мне закон вреден... Он мне — как заноза.

Он перестал разбирать камни, подошел к обрыву и долго смотрел вниз.

— И там должны кости быть, — пробормотал он. И вдруг, вложив в рот два пальца, издал пронзительный и по ушам хлыстом хлестнувший свист. Пошел свист по всем горам, словно обрадовалось соскучившееся отгулье и захотело захихватски тряхнуть стариною. И тогда вдруг человек с коричневой кожей подошел вплотную к Ивану Вавиловичу и прижал его к шершавой скале.

— Ты кто такой есть? — крикнул он яростно. — Документы предъяви! Живо! Уши обрежу!

Иван Вавилович, глотая слюну и выпучив глаза так, словно уж впилась ему коричневая рука в горло, вынул из кармана бумажник. Коричневый человек долго и с удовольствием рассматривал какое-то удостоверение. Потом он пересчитал деньги, сунул бумажник в свой сальный и рваный

карман, возвратил документы Ивану Вавиловичу и крикнул ему зычно:

— Катись!

Иван Вавилович и в самом деле покатился; он бежал, как только мог быстро, по узкой тропочке и думал: вот, сунет нож прямо в желобок промеж лопаток.

Он бежал до роковой площадки, поросшей травой. Все так же висел вдали застывший пароход... Иван Вавилович остановился — перевести дух. Сзади покатились вдруг камни, послышались шаги, и опять мелькнула между деревьями страшная коричневая кожа.

— Нате, — уныло сказал обладатель этой кожи, протягивая Ивану Вавиловичу бумажник с деньгами, — духу того нету. Извиняюсь за беспокойство... Хотел стариною тряхнуть... Застопорило.

Он с отвращением взглянул на южный берег, и исчез в зарослях.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПЛОЩАДИ.

Кто он, откуда, как решить,
Небесный он или земной?

Ф. Т ю т ч е в.

I.

Финансовый инспектор Семен Петрович Слизин имел обыкновение, воротясь со службы, вздремнуть часок на диване, и это время он по справедливости почитал приятнейшим в своей жизни. Обычно ему спать никто не мешал, ибо супруга его Анна Яковлевна в это время ходила по модным магазинам, примеряя самые дорогие костюмы. Примерив и полюбовавшись собою в тройное зеркало, говорила она: „Нет, этот фасон мне что-то не нравится“, — и шла в другой магазин.

Семен Петрович блаженно вытянулся на диване и оглядел комнату. Оглядел он ее с довольною улыбкой, даже несколько любовно, ибо больше всего на свете ценил тот именно факт, что есть

у него вообще комната. Она к тому же лишь на два аршина превышала установленную норму. Этою осенью он побелил потолок, стены оклеил обоями, розовыми с зелеными огурцами. Над столом смастерил голубой абажур, и комната получилась очень уютная, даже с налетом буржуазного самодовольствия, но не настолько, чтобы могли идеологически прицепиться. Картинки на стенах висели тоже самые лойяльные: „Приятный фант“, „Лунная ночь в Азербейджане“ и еще какой-то писатель, с виду похожий даже на трудящегося.

Семен Петрович закрыл глаза и приготовился к блаженству. Уже закружились перед его воображением толстые приходе-расходные книги, уже выскочил и пропал художник Колбасов — ловкач по части укрывания доходов — как вдруг некий реальный звук разогнал все эти тени, предвещавшие счастье. А именно — с треском распахнулась дверь, и вошла Анна Яковлевна.

— Спишь? — спросила она, скидывая шубку на цветной подкладке и соблазнительным движением подтягивая розовый чулок. — Спи, спи, я тебе не буду мешать, я только завьюсь... У нас сегодня... впрочем, спи, спи, я тебе потом расскажу.

Семен Петрович со вздохом закрыл глаза.

А супруга его между тем побежала в кухню и через минуту внесла в комнату громкогудящий примус.

— Я только завьюсь, — говорила она, — ты, пожалуйста, спи... Ну, чего ты глаза таращишь? А потом будут попреки: не дают ему отдохнуть.

С этими словами она скинула платье, подошла к комоду и взяла щипцы.

Семен Петрович, пожалуй, все-таки бы заснул, ибо гул примуса действовал на него даже усыпляюще, но фраза, начатая и неоконченная супругою, не давала ему покоя: „У нас сегодня“, — сказала Анна Яковлевна.

„Неужто гости?“ — с ужасом подумал Семен Петрович.

Дело в том, что Семен Петрович вовсе не был буккою и необщительным человеком. Наоборот, у него были приятели, с которыми он очень любил распить бутылочку, посидеть и поболтать. Но как раз супруга его и не любила этих приятелей, считая их людьми не хорошего круга, и всегда после их ухода демонстративно распахивала форточку. Даже словесные термины для его гостей Анна Яковлевна употребляла иные, чем для своих. Ее гости „приходили“, а его гостей „приносило“, ее гости „садились“, а его гости „плюхались“, ее гости „засиживались“, а его — „торчали до второго приществия“, ее гости самовар „выпивали“, а его — „выхлестывали“.

Зато и он очень не любил ее гостей: двух артисток студии, танцора и некоего Стахевича —

человека без определенных занятий, которого фининспектору и принимать-то было в сущности неудобно.

Но как-то уж так с самого начала завелось, что гостями считались именно гости Анны Яковлевны, и для них надо было всегда покупать конфеты, колбасу, а иногда даже вино и пиво.

Отогнав жуткие мысли, Семен Петрович начал было дремать, но в это время Анна Яковлевна вдруг пронзительно взвизгнула и затопала ногами, должно быть, обожглась, а на его испуганный вопрос раздраженно крикнула: „Да спи, пожалуйста. Чего вскочил?“

Но он уже не лег, а печально закурил папиросу.

— Выспался?—спросила она, закругляя над головой голые руки.—А у нас сегодня, Сенька, будут спириты.

— Как спириты?..

— Так. Стахевич, Гура, Мура и Сергей Андреевич... Гура, представь себе, чудный медиум... Вчера у них пианино по комнате плясало, и кто-то под столом Муре всю коленку изодрал... С нею чуть обморок не сделался...

— Это же, Аня, у нас устраивать неудобно.

— Почему?

— Во-первых... жильцы могут пронюхать, я все-таки официальное лицо... а во-вторых...

— Говори, говори...

— Да у нас и пианино нет.

— Стол будет плясать, стул, мало ли что. А на жильцов мне наплевать. Они вон по ночам на головах ходят, это ничего?

— И не ходят они на головах вовсе.

— Нет, ходят. Ты не знаешь, так молчи. Ты спишь, как сурок, а у меня чуткий сон. Вчера часов до трех на головах ходили. И тебе, кроме того, будет интересно. Ты погряз в свои эти налоги, а тут связь с посторонним миром.

— Мне этот Стахевич, по правде сказать, не нравится.

— Дураку умные люди никогда не нравятся.

* * *

Через час Семен Петрович, отфыркиваясь от весеннего дождичка, шел в магазин Моссельпрома, а еще часа через два началось то самое необычайное происшествие, которое впоследствии Семен Петрович не без основания почитал в своей жизни роковым.

* * *

Все сели вокруг стола, не исключая и Семена Петровича, который, впрочем, сел скрепя сердце.

Но надо сказать несколько слов о внешнем виде собравшихся гостей.

Стахевич был высокий человек с чрезвычайно энергичным выражением лица, бритый, гладкий;

при разговоре с мужчинами он обычно крутил у них пуговицу, а говоря с дамой, поглаживал ее по руке между плечом и локтем.

Гура и Мура были совсем на одно лицо, но одна была блондинка, а другая брюнетка, обе полные, крепкие, с пунцовыми губами и ужас до чего короткими юбками.

Сергей Андреевич, как танцор, был изящен и делал все время плавные движения. Лицом он был похож на масона, а потому носил на руке браслет с черепом.

Гура, оказавшаяся медиумом, имела на этот раз несколько томный вид.

— Я, знаете, — говорил Стахевич, — спиритизмом занимался еще будучи в Англии. Там, чорт возьми, это дело разработано. Точная наука. Вызывают кого угодно и такие получают сведения о загробном мире, что дальше ехать некуда. Вот эдакие книги изданы. Сплошь разговоры с духами. Говорят, Ллойд-Джордж никогда в парламенте не выступает, не посоветовавшись с духом одного епископа, который к нему благоволит... А у нас, конечно, прежде всего ищут надувательства...

— Ограниченный горизонт, — заметил Сергей Андреевич.

— Просто обычное невежество... То, что для европейца стало истиной, для нас еще какие-то шуточки... Ну, как вы?

Последний вопрос относился к Гуре, которая при этом как-то странно раза два глотнула воздух.

— При свете? — спросила тихо Анна Яковлевна, сурово поглядев на мужа, который, удерживаясь от зевоты, неприлично щелкнул зубами.

— Нет, сегодня лучше потужить... Господа, сегодня мы сделаем попытку добиться полной материализации... Только если кто боится, пусть скажет заранее... иначе может получиться чорт знает что.

Все вопросительно поглядели на Семена Петровича, но он постарался принять вид самый хладнокровный.

— Итак, господа, я тушу свет.

— А почему же в темноте? — робко заметил Семен Петрович.

— Потому, что так надо, — с презрением отвечал Стахевич, — а скажите, в коридоре у вас темно?

— А что?

— Бывает, что духи распахивают дверь.

— Так ее можно запереть.

— Нельзя!

— Почему?

— Потому что никогда нельзя двери запирасть во время сеанса.

— Ты уж, Сеня, не говори о том, чего не знаешь.

Стахович потушил лампу.

Произошла какая-то легкая возня, но затем все уселись по местам, только кто-то ткнул слегка Семёна Петровича в грудь, но сейчас же отдернул руку.

Наступила тишина.

Слышно было, как за стеной рассказывала какая-то женщина:

— Иду я, милая девушка, по улице и несу сумочку в руке. Тридцать рублей стоит сумочка и в ней зеркальце еще. Очень хорошая вещь. И вдруг мальчишка — рванул ее, милая девушка, и как словно его и не было. Я к милиционеру. А он: вы, говорит, гражданка, халатно по улицам ходите.

Семен Петрович заметил, что стол, на котором лежали руки, вдруг начал проявлять признаки жизни. Он как-то затрясся и, слегка наклонившись, топнул ножкой.

Во мраке плыли перед глазами красные и зеленые круги.

Слышно было, как тяжело дышали дамы. Атмосфера становилась беспокойной.

Семен Петрович подумал о своем служебном столе, заваленном книгами, возле окна, из которого, как на ладонке, видна была площадь Революции. Уж тот стол, наверное, не стал бы вытворять таких штук.

Но в это время какое-то уже довольно энергичное потряхивание стола разогнало отрадные мысли.

Положительно жутко становилось во мраке.

Что-то щелкнуло в углу. Вдруг ни с того, ни с сего хлопнула дверь, с треском упала со стены картинка.

Было такое чувство, словно в комнату вползла огромной величины собака.

Семен Петрович ощущал, как весь он покрывается мелким дыганским потом. „Соседи коммунисты,— думал он,— вдруг пронюхают? Хоть бы духи эти тишину соблюдали“.

— Внимание,— прошептал Стахевич,— цепь не разорвите...

Мрак стальным обручем сковал череп. А в углу определенно происходила какая-то возня, словно собака никак не могла найти место, чтобы улечься.

Стол вдруг затрясся, как в лихорадке.

— Яичницу с ветчиной и стакан бургундского!— послышался из угла резкий голос,— гром и молния — поторапливайся, моя пулярдочка!

Пронзительно вскрикнула Гура, ибо Семен Петрович, внезапно вскочив, разорвал цепь.

— Свету, свету,— кричал кто-то.

— По местам,— шипел Стахевич,— вы погубите медиума.

Но Семен Петрович зажег электричество.

Все сидели во всевозможных позах, выражающих ужас, а медиум, вдобавок, поправляла свою золотистую, сбитую на бок прическу.

Но то, что увидал Семен Петрович в углу комнаты, заставило его задрожать с головы до ног и побледнеть так, как он никогда еще не бледнел в своей жизни.

— Я жалею,— говорил он мне впоследствии,— что у меня в то мгновение не лопнуло сердце, тем более, что все к этому шло. Я тогда, впрочем, не учитывал всех последствий, и только этим и можно объяснить, что я не умер внезапно и, следовательно, остался жив. Но разве по заказу умрешь?

И, от души сочувствуя бедному Семену Петровичу, сознаюсь, с трудом находил я для него слова утешения.

II.

Управдом Агатов относился к жильцам мягко и как-то даже по-отечески, ворчал, шумел, но в общем никого зря не обижал и плату брал нормально. И жильцы правильно рассуждали: пусть ругает, лишь бы не обкладывал.

А в особенности любили и ценили его дамы... любили именно потому, что он поистине был их покровителем и при разводах и при других зависящих от него обстоятельствах. Был управдом джентльмен.

Теперь он сидел у себя в квартире перед только что раскупоренной бутылкою русского хлебного вина и размышлял, выпить ли всю бутылку сразу или половину выпить, а половину оставить на завтра.

Поэтому, услышав стук в дверь, он недовольно крикнул: „ну“ и, увидав Слизина, сказал: „какого чорта, граждане, вы ко мне на квартиру ломитесь еще и в воскресенье... Есть для этого контора“.

Но при этом, случайно взглядевшись в лицо Семена Петровича, прибавил он несколько мягче:

— Ну, что там? Налоги, что ли, все отменили?

Семен Петрович, действительно, имел вид, до крайности ошалелый.

— Я бы не решился, если бы не такое дело... Просто такое дело...

— Ну, что?

— Вы себе вообразить не можете... только я очень попрошу, чтобы все это между нами... щекотливое дело.

Как ни силился оправдом, а лицо его так и распухло от любопытства. „Наверное с бабами что-нибудь“, — подумал он.

— Да вы говорите, тут никто не подслушает. Эти в церкви, а те на собрании.

И он кивнул сначала на одну стену, потом на другую.

— Видите ли,— начал Семен Петрович тихим и взволнованным голосом,— вчера вечером собрались у меня гостишки и стали баловаться.

— Канализацию, что ли, повредили?

— Да нет... стол вертели, знаете... спиритизм.

— Так.

— Я, конечно, был против, но не гнать же мне их... и начали, можете себе представить, вызывать... духа.

— Духа?

— И, вообразите, вызвали...

— Гм! Скажите на милость!

— Только дух-то возьми и воплотись... Одним словом, сидит он теперь у нас да и все тут.

— Как сидит?

— Просто вот так, обыкновенно сидит на стуле.

— А гости?

— Гости вчера еще разошлись.

— Гм... А он кто же такой?

— В том то и дело... только это уж между нами... Я вас очень прошу, дорогой товарищ.

— Ладно, сказал ведь!

— Французский король... не теперешний, а прежний... Генрих Четвертый.

— Что за история!..

— Шляпа, знаете, с пером и плащ... прямо на белье... Я уж ему свой пиджак дал... Ежели кто придет, скажу — знакомый.

Управдом вдруг рассердился.

— Как же это вы, граждане, такие пули отливаете. Ведь есть же правило... Без прописки нельзя ночевать ни одной ночи.

— Да ведь, товарищ, разве это человек... дух ведь это.

— А с виду-то он какой? С глазами, с носом?

— Все как следует...

— Не то, чтоб скелет?

— Да нет...

— Ну, стало быть, вы его обязаны прописать. А не то — вон его.

— Не идет... Скандалит... пулярдок каких-то требует... Кофе „Чаеуправления“ не пьет: подавай ему „имени товарища Бабаева“.

— Да как же он по-русски-то?

— Духи на всех языках могут.

— Что-то это чудно. Придется в милицию вам сбегать.

— Да ведь, товарищ, родной, как же я в милиции заявлю-то? Советское лицо, фининспектор и вдруг спиритизмом занимается... Говорят, не разрешается это.

— Конечно, по головке за это не погладят... Экие вы какие, граждане. И чего вам только нужно? Ну, живете себе и слава богу, а тут прищичило вам духов каких-то вызывать.

— С юрисконсультom, что ли, каким посоветоваться. У меня есть один знакомый!

Управдом задумался.

— Советоваться вы, конечно, можете, а все-таки я обязан на него посмотреть.

— Только уж, ради создателя, никому...

— Ну, это там видно будет...

Управдом запер водку в буфет, и они пошли по так называемой черной лестнице, ногами распахивая ободранных кошек, ибо твари эти пренеуртно спали на самой середине ступенек.

Войдя в квартиру, они, чтобы не вспугнуть духа, к двери приблизились на цыпочках.

Управдом присел на корточки, закрыл один глаз ладонью, а другой приложил к замочной скважине.

Просидев так минуты три, он выпрямился и сказал как-то чудно:

— М-да...

Затем оба пошли в кухню.

— А все-таки прописать вы его обязаны, — произнес он, — он ведь не бесплотный... дух-то...

— Товарищ дорогой, ну, а документы?..

— Граждане, это уж ваше дело за своими жильцами смотреть.

— Да ведь он же не жилец!..

— Однако, живет...

Семен Петрович с отчаянием развел руками.

— Вся надежда на юрисконсульта, — сказал он, — схожу к нему... главное, тема такая, язык не поворачивается...

Управдом махнул рукой и вышел, оставив Семена Петровича в обществе семи блестящих примусов.

III.

Юрисконсульт был после товарищеского юбилея и зевал так, что челюсти трещали на всю квартиру.

— Генрих Четвертый? — спросил он, закуривая и размахивая спичкой, — это тот, что ли, который в Каноссу ходил? Или... а-у-а (он зевнул)... французский?

— Французский... А, впрочем, кто его знает.

— Положим, это не важно... Будем рассуждать сначала *de facto*, а затем *de jure*. Вы извините, что я все зеваю. Что мы имеем *de facto*? Наличие в вашей комнате какого-то постороннего гражданина. Обстоятельства его въезда нас пока не интересуют. Гм... вы имеете что-либо против его пребывания у вас?

— А как же не иметь. Нормальная площадь для двоих, потом ведь я женат. Знаете, бывают интимные положения.

— Это нас пока не интересует. Так. Стало быть, вы желаете, чтоб он выехал?

— Очень желаю.

— Подайте в суд.

— Да ведь, Александр Александрович, неловко мне при моем служебном положении о спиритизме заикаться.

— Тогда примиритесь. Ну, пусть живет... Ведь это, так сказать, в роде миража.

— Да у него документов нет, у подлеца такого.

— Объявите в газете, мол, утеряли документы какого-нибудь там Чорта Ивановича Вельзевулова...

— Гм... Но ведь стеснит он нас ужасно.

— Да... особенно если это французский Генрих... Больше всего опасайтесь его насчет... вот этой штучки.

Юриисконсуьлт сделал непередаваемый жест.

Семен Петрович побледнел.

— Ну, что вы, король-то! — сказал он несколько неуверенно.

— Ого! Почитайте-ка „Королеву Марго“... Хотите, дам?..

— Да, любопытно ознакомиться... Господи! Вот ведь незадача. Убить его, что ли?.. Как это по закону? За убийство духа?..

— Гм... Если бы вы были уверены, что тело его вполне астральное. Он как в смысле человеческих потребностей?

— Это вы в смысле уборной? Пользуется.

— Вот видите. А вдруг он после смерти не испарится? Куда вы с трупом денетесь?.. Впрочем, я могу одного медика спросить...

Юрисконсульт подошел к телефону.

— Три четырнадцать восемь... благодарю вас... Иван Петрович?.. Здравствуйте!.. Нет, спасибо, она ничего... Вчера вырвали под кокаином... Вы извините, тут такой случай... дух материализовался на спиритическом сеансе... дух... ду-ух... да... да... И не уходит из квартиры... Что будет, если попробовать его убить?.. Что? Вчера? Да, на юбилее был.. Сильно... И вино и водка... Ну, это я не считал... Ну, штук двадцать... Так не знаете?.. Извините... Дарье Ниловне ручку.

Юрисконсульт положил трубку и как-то смущенно пощупал себе лоб.

— Убивать рискованно,— сказал он.

— Ну, а что же делать?..

— Выправьте ему документы, пропишите, а потом осторожно поднимите дело. Вы не спрашивали, как у него с профсоюзом?

— Наверное, плохо.

— У вас все основания его выселить, тем более, что теперь с духом особенно не будут церемониться. А, может быть, он понемножку и сам как-нибудь... испарится. Вы сквозняк почаще устраивайте.

Семен Петрович вздохнул.

Он вышел на улицу.

Был теплый майский день, сады зеленели, высоко над улицей визжали стрижи.

Семену Петровичу вдруг пришла в голову просто шальная мысль: а ну, как все это сон, а ну, как никакого Генриха нет, а ну, как сейчас придет он в свою комнату, растянется на диване и уснет крепко, с хорошими снами...

Подходя к дому, он тревожно поглядел на свое окно, блестевшее на солнце высоко, под самую крышею пятиэтажного дома.

Даже шаг задержал, чтобы продлить удовольствие испытываемой надежды.

Но из подъезда вышел Стахевич в каком-то полосатом пальто и шляпе, столь необыкновенной, что, конечно, сразу возникла мысль о нетрудовом элементе. Башмаки же малиновые, с острыми острыми носами.

— Был сейчас у ваших, — сказал он, хватая Семена Петровича за пуговицу, — все-таки это случай замечательный (он понизил голос)... живи мы в Англии, вам бы сейчас журналисты покою не дали, мы бы уже все знаменитостями были, а тут... молчок... А явление-то между тем мирового порядка. Вот она вам, рабоче-то-крестьянская.

И он пошел, напевая:

Прекрасная Анега,
Люблю тебя...

Семен Петрович остался стоять в полной про-
страции.

„Пойду-ка к Красновидову, — решил он, —
и все ему выложу. Была не была. Либо пан, либо
пропал“.

И решив так, пошел, хотя и захолонуло сердце
от вполне понятного трелета.

* * *

Но здесь приходится сделать как бы малень-
кий психологический экскурс, дабы избежать лож-
ного представления о самой личности Семена Пет-
ровича, для меня весьма дорогой.

Семен Петрович был храбр, как храбр всякий
русский человек, то-есть не боялся ничего, кроме
стрельбы на сцене и начальствующих лиц. Такова
уж удивительная черта. Я знавал храбрецов,
с улыбкой входивших в клетку со львами и спо-
койно пивших чай во время пожара в доме, кото-
рые, однако, с первых же слов Ленского: „Куда,
куда вы удалились“ — начинали трястись как в ли-
хорадке, а на Онегина старались не смотреть,
словно боясь раздражить его раньше времени.
Я знал героев, совершавших на войне чудеса,
которых приходилось силой удерживать от опас-
нейших подвигов и которые, служа впоследствии
в канцелярии, никогда не входили в кабинет на-
чальника, не сказав при этом (даже и при совет-

ской уже власти): „помяни, господи, царя Давида и всю кротость его“.

Если принять во внимание, что Семен Петрович был чистокровный русский человек, а Красновидов жил в доме советов и имел автомобиль с розовой бумажкой на переднем стекле, то будет понятно, что, сильно робея, вошел Семен Петрович в парадное антрэ бывшей гостиницы и спросил, как пройти к Красновидову. Ему, впрочем, указали равнодушно.

Он шел по широкому, устланному ковром коридору и, подходя к указанной двери, все более замедлял шаги.

Перед дверью он остановился.

Он услышал веселый детский смех, собачий лай и однообразное дудение на какой-то, видимо, игрушечной трубе.

На нерешительный стук его крикнули: „входите“.

Он вошел и с удивлением увидел самого Красновидова, сидящего на полу в громадной каске, сделанной из „Вечерней Москвы“. Два карапуза плясали вокруг него, уморительно гримасничая и смеясь во все горло.

Тут же прыгал пудель.

В руках Красновидов держал дудочку.

— В чем дело?— спросил он весьма благодушно.

— Извиняюсь, я имею удовольствие быть вашим служащим по фининспекции... Я — Слизин...

— Ага... Ну и что же?..

— Я бы не решился беспокоить в неурочное время, если бы не обстоятельства, принудившие меня... просто я даже затрудняюсь выразить... Одним словом, я очень извиняюсь...

— Не больше десяти минут, знаете. Ребят возьмите. Керзон, тубо.

Какая-то женщина вошла в комнату и, недовольно поглядев на Семена Петровича, увела огорченных детишек.

Четыре телефона (из них один был какой-то чудной), стоявшие на столе, жутко подействовали на Семена Петровича. „Уж один-то, наверное, зазвонит во время разговора, — подумал он, — помешают, дьяволы“. И, сев на предложенное место, он начал, косясь на телефоны:

— Я только должен предупредить... Я тут не виновен... сумасбродство жены... легкомыслие молодой женщины... устроила сеанс со спиритизмом, несмотря на мое горячее сопротивление... и вызвала духа... И даже не она вызывала... а гости, и явился Генрих Четвертый, французский король... и теперь не уходит... уплотнил самым наглым образом... Я потому вам, многоуважаемый товарищ, все это смело высказываю, потому, что знаю вашу гуманную точку зрения.

И вот тут-то зазвонил телефон.

Красновидов взял трубку.

— У телефона... Да... я... Ну, здравствуйте...

Он стал слушать, и Семен Петрович видел, как сползло с его лица выражение благодушия и как наползло выражение, такое выражение, которого именно всегда боялся Семен Петрович на лице начальства. Казалось, тень не от набежавшей тучи, а от целого ненастья напозла на цветущую луговину.

— Товарищ, я прошу вас бросить подобные слова... Что значит „торчал на заседании“? Какого дьявола, в самом деле!.. А я вам говорю... Что? Это у вас в Саратове разгильдяйство!.. Моя физиономия тут не при чем, свою поберегите!.. Шляпа куриная!

И сказав так, Красновидов швырнул трубку.

Глаза его метали молнии, и бородака заострилась вдруг, как у Мефистофеля. С секунду он бессмысленно смотрел на Семена Петровича.

— Что же это за безобразие!— крикнул он вдруг, — вы, ответственное лицо, занимаете должность, а хуже всякой бабы... Мракобесие какое-то разводите. Зачем же мы с вас политграмоту требуем? Государство тратит огромные деньги, чтоб доказать материализм, а вы нам тут каких-то духов подвертываете... Да вы понимаете, что ваши действия являются социально-опасными... Сегодня вы духа вызвали, завтра другой... Мы кричим о разгрузке, изживаем жилищный кризис, а тут

какие-то короли, едят их мухи с комарами, будут себе помещения требовать!.. Какое же при таких условиях возможно строительство?

— Я пошутил,— пробормотал Семен Петрович, бледный, как смерть, трясаясь и конвульсивно улыбаясь,— ничего подобного не было.

— Как не было?..

— Так... я это... нарочно рассказал... для смеху.

— Да вы что, пьяны, что ли?

Семен Петрович, чувствуя, что голоса у него нет, молча утвердительно кивнул головою.

Красновидов немного успокоился.

— Где же это вы с утра наакались?

Семен Петрович нашел в себе силы прошептать:

— В госпивной...

— Ну, положим, сегодня праздник... Только в другой раз вы, пожалуйста, когда напьетесь, дома, что ли, сидите... Как не стыдно — семейный человек...

Семен Петрович вышел, чувствуя, что земля уходит у него из-под ног.

— Приведите ребят,— донеслось из-за закрывшейся двери.— Керзон, иси!

IV.

Как некий лунатик или сомнамбула — хуже, как тень самого себя, дошел Семен Петрович до дому и поднялся по лестнице.

Счастье, что по случаю весны жильцы все с утра еще уехали за город, и покуда в квартире разговоры еще не поднялись. А, может быть, в самом деле это все обман, мираж, игра расстроенного воображения?

Он хотел отворить дверь своей комнаты, но она не поддавалась.

— Кто там?— послышался испуганный голос Анны Яковлевны.

— Я.

— Сейчас, Сеничка.

Анна Яковлевна не сразу отворила дверь.

— Я переодевалась,— сказала она шопотом.

— А он где же?

— А вон он.

Генрих Четвертый сидел на балконе и курил папироску.

Это был человек с плохо выбритыми щеками и с каким-то пренебрежительно-мрачным выражением лица. Пиджак Семена Петровича был ему, повидимому, узковат, ибо он поминутно расправлял руки и недовольно ерзал спиною.

— Зачем он на балконе сидит?— шопотом сказал Семен Петрович.— Увидеть могут.

— Он только что вышел.

— А как же ты при нем переодевалась?

— Ну, что ж такого?.. Духа еще стесняться...

— Говорят, он бабник ужасный.

— Да что ты?..

— Я не хочу, чтоб ты с ним наедине оставалась.

— Что ж, ты меня еще к призраку ревновать будешь?

— И вообще он жить у нас оставаться не может...

Генрих Четвертый, очевидно, слышал последнюю фразу, ибо он вдруг встал и вошел в комнату. Мужчина он был с виду весьма рослый.

— Кто это не может оставаться жить?..— спросил он.

Семен Петрович проглотил слюну.

— Вы не можете...

— Во-первых, не „вы“, а „ваше величество“ или „сир“, а, во-вторых, как это не могу?

— У вас... какие доку́менты?

— Вот один доку́мент, а вот другой...

С этими словами король показал сначала один кулак, а потом другой.

— Это мои доку́менты и аргу́менты...

Семен Петрович вспотел и мокрой рукой погладил себе щеку.

— Короли себя так не держат, — пробормотал он.

— А ты почему знаешь, как себя короли держат... Кровь и мщение! Не будь здесь дамы, я бы сделал из тебя фрикассе.

— Теперь власть трудящихся...

Король свистнул.

— Ну, и трудись себе на здоровье.

— Я с вами не шутки шучу. И упрядом то же говорит и юрисконсульт... И товарищ Красновидов весьма недоволен...

— Чем же он собственно недоволен?

— Во-первых, что вы король... а кроме того, дух... это теперь изживается...

Генрих посмотрел вопросительно на Анну Яковлевну.

— Вы разрешите, сударыня, сделать из него фрикассе?

— Я за тебя краснею, Сеня, — сказала Анна Яковлевна, — ты пойми, это же как бы наш гость.

— Я его в гости не звал.

— Ну, другие звали.

— А это меня не касается... Потрудитесь очистить площадь... Сию же минуту... чтоб духу вашего тут не было... Нахал...

Генрих побагровел.

— При даме? — пробормотал он и вдруг, схватив Семена Петровича за шиворот, вышиб его за дверь, которую мгновенно захлопнул и запер.

— Я сейчас в милицию иду!..

— Кланяйтесь там...

Семен Петрович, еще дрожа от волнения, сбегал с лестницы. Но внизу столкнулся с упрядомом.

— Я обдумал все, — сказал тот, — и вы, конечно, обязаны его прописать. Сделайте публикацию в газете об утере документов от имени воображаемого лица... Фамилию я выдумал: Арбузов... Имя можно... ну, хоть Иван Иванович... Тогда он станет как бы легальным лицом, и можно на него в суд подать и всякая такая вещь. А за спиритизм, я справлялся, может вам влететь, особенно принимая во внимание вашу высокую сознательность, как фининспектора.

— А где ж я жить буду?

— Теперь дело к лету. На дачу поезжайте... а к осени как-нибудь...

— Да ведь, товарищ дорогой, я эдак площади могу лишиться.

— Вот вы всегда так, граждане. Натворите нивесть чего, а потом „ах, ох“ — а комната-то тю-тю.

Семен Петрович машинально пошел по улице.

На углу попался ему Стахевич с изрядным чемоданом.

— Несу кое-чего вашему Генриху, — сказал он, — надо входить в положение... Человек триста лет витал где-то в эфире и вдруг — бац... естественно, что ему не во что переодеться... А я все-таки думаю рассказать все это одному знакомому англичанину, пусть напишет в Лондон. Там это воспримут культурно.

Я очень люблю осень, именно ту ее пору, когда уж зима, притаившаяся где-то в сибирских равнинах; забирает себе в легкие побольше воздуха и замирает, готовясь сразу выдохнуть его на черные поля, на золотые леса и рощи.

Поэтому, выбрав в середине октября ясный день (было воскресенье), поехал я в одну деревню верстах в двадцати от Москвы, где когда-то счастливо прожил целое лето.

Гуляя по опустевшему березняку, я увидел вдруг человека, грустно сидящего на пне и словно погруженного в задумчивость.

— Семен Петрович! — воскликнул я с изумлением.

Он тоже узнал меня и пошел мне навстречу.

Боже мой! До чего может измениться человек в течение каких-нибудь четырех месяцев! Передо мною стоял призрак бывшего Семена Петровича, стоял и жалко улыбался.

— Готовлюсь к зимовке, — сказал он, — очень, знаете, утомительно каждый день в Москву ездить... но приходится... Впрочем, я на-днях начинаю процесс... У Арбузова ведь не может быть никаких данных. Юристы говорят, что закон на моей стороне.

— Ну, а супруга как? — спросил я и покраснел, поняв неуместность моего вопроса.

— Мерси... Ее тоже незавидное положение... в одной комнате с неизвестным человеком... да и страшно ей... она с детства привидений боялась... только вот разве, что к Москве она очень привязана, ни за что уезжать не хочет... Она ширмочкой... вы простите, у меня насморк... отгордилась.

И он долго сморкался, немного отвернувшись. Кругом было тихо.

Иногда только желтый листик срывался с ветки и шурша падал на землю.

Вдали печально, словно плача об ушедшем лете, просвистел поезд. Темнело.

Пора было возвращаться в Москву.

Мы расстались.

Человек без площади снова уселся на пенёк и опять погрузился в задумчивость.

А я быстро шел к полустанку и, сознаюсь, с нехорошею радостью думал о своей маленькой, но неоспоримой комнатке с исконным видом на Замоскворечье и с такою мягкой широкою кроватью.

И немного это — шестнадцать квадратных аршин, но радуйтесь обладающие ими, и плачьте их утратившие.

* * *

В начале зимы, простудившись в поезде, умер Слизин.

Стахович и Арбузов в настоящее время успешно содержат интимное кабаре.

Анна Яковлевна еще похорошела, но, пожалуй, слишком полна.

* * *

Граждане, не общайтесь с загробным миром.

СО Д Е Р Ж А Н И Е.

	<i>Стр.</i>
Баклажаны	7
Судьбе загадка	181
Женитьба Мечтателя	203
Письмо	243
Любопытные сюжеты	251
Жуткое отгулье	259
Человек без площади	270



ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“

Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14.

Новости русской литературы.

- АЛЕКСЕЕВ, ГЛЕБ.** Иные глаза. Рассказы. 216 стр. Ц. 1 р 50 к.
БАБЕЛЬ, И. Беня Крик. Кино - повесть. Ц. 1 р.
БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ. Московский чудак. Роман. 256 стр.
Ц. 1 р. 80 к.
БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ. Москва под ударом. Роман. 248 стр.
Ц. 1 р. 80 к.
ВОРОНСКИЙ, А. За живой и мертвой водой. Воспоминания.
256 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ГРИГОРЬЕВ, С. Коммуна Мар-Мила. Повесть. 132 стр. Ц. 1 р.
ЗАМЯТИН, ЕВГ. Нечестивые рассказы. 180 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ЗАЯЦКИЙ, С. Бахлажаны. Рассказы. 304 стр. Ц. 2 р.
НОВИКОВ, И. Вишни. Рассказы. 288 стр. Ц. 2 р.
СЕЛВИНСКИЙ, И. Улялаевщина. Эпопея. 148 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ТОЛСТОЙ, А. Древний путь. Рассказы. 184 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ТОЛСТОЙ, А. и ЩЕГОЛЕВ, П. Азеф. Пьеса. Ц. 1 р.
ТРИОЛЕ, Э. Земляничка. Роман. 176 стр. Ц. 1 р. 50 к.
ФЕДОРОВИЧ, ВИТ. Спор с господином. Рассказы. Ц. 1 р. 50 к.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Роман исторический, том I.
292 стр. Ц. 2 р.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Том II. 356 стр. Ц. 2 р. 40 к.
ЧАПЫГИН, А. Разин Степан. Том III. 390 стр. Ц. 2 р. 50 к.
ЧАПЫГИН, А. На лебязьих озерах. Повесть. (Печатается.)
ШКЛОВСКИЙ, В. Третья фабрика. 144 стр. Ц. 1 р.
ЗРЕНБУРГ, И. Лето 1925 года. 208 стр. Ц. 1 р 50 к.
ЯВИЧ, А. Путь. Роман. 384 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Все книги этой серии в изящных переплетах.



ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“

Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14.

Новости иностранной литературы.

- АШ, Н. Контора. Рассказы (печатается).
БАРБЮС, А. Насилие. Повести. 196 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БЕНУА, ПЬЕР. Альберта. Роман. 232 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БЕНУА, ПЬЕР. Прокаженный король. Роман (печатается).
БЕРЕСФОРД, Д. Дом № 73. Роман. 224 стр. Ц. 1 р. 40 к.
БЕРКОВИЧИ, К. Поющий ветер. Рассказы (печатается).
ЕАСТ, УГО. Каменная пустыня. Роман (печатается).
ДЕБЕРЛИ, А. Пытка Федры. Ромэн (печатается).
ДЮАМЕЛЬ, Ж. Дневник святого. Роман. 260 стр. Ц. 1 р. 60 к.
ЖИД, А. Подземелья Ватикана. Роман-фарс. 252 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ИСТРАТИ, П. Неррантсула. Роман. 152 стр. Ц. 1 р. 25 к.
КЕЛЛЕРМАН, Б. Два брата. Роман. 320 стр. Ц. 1 р. 75 к.
КОЛЛЕТ. Конец Шери. Роман (печатается).
МАК ОРЛАН, П. Фабрика крови. Рассказы. 140 стр. Ц. 1 р. 25 к.
МОРАН, П. Открыто ночью. Новеллы. 208 стр. Ц. 1 р. 50 к.
СОБРЕРО, М. Знамена и люди. Роман. 248 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Библиотека пролетарских писателей.

- АКУЛЬШИН, Р. Проклятая должность. Расск. 200 стр. Ц. 1 р. 50 к.
БРАНЖЕВ, Е. В дыму костров. 176 стр. Ц. 1 р. 25 к.
СЕМЕНОВСКИЙ, Д. Мир — хорош. Стихотворения. 96 стр. Ц. 1 р.
ТВЕРЯК, А. На отшибе. Повесть. 240 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Романы приключений.

- БРИДЖС, В. Человек ниоткуда. Роман. 252 стр. Ц. 1 р. 50 к.
КАДУ, РЕНЭ. Атлантида под водой. Роман. 312 стр. Ц. 2 р.
ДЮМБЕЛЬ, П. Красавица с острова Люлю. 192 стр. Ц. 1 р. 25 к.
МАК ОРЛАН, П. Желтый Смех. 168 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Все книги этих серий в изящных переплетах.



ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“

Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14.

- ВОРОНСКИЙ, А.** Литературные записи. В перепл. Ц. 1 р. 60 к.
ЕГО ЖЕ. Литературные типы. В перепл. Изд. 2-е. Ц. 2 р. 25 к.
ИВАНОВ, Вс. Гафир и Мариам. Повести и рассказы.
Ц. 1 р. 75 к.
КАЛЛИНИКОВ, И. Мощи. Роман. Т. I. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.
ЕГО ЖЕ. Мощи. Роман. Т. II. Изд. 2-е. Ц. 2 р.
ЕГО ЖЕ. Мощи. Роман. Т. III. Ц. 2 р.
КОЗЫРЕВ, М. Мистер Бридж. Повесть. С иллюстрациями
худ. М. Гетманского. 80 стр. Ц. 75 к.
ЛЕЖНЕЗ, А. Вопросы литературы и критики. Ц. 1 р. 75 к.
МАЛЫШКИН, А. Падение Даира. Повесть. Изд. 2-е. Ц. 35 к.
МАРГЕРИТ, В. Преступники. Ц. 1 р. 75 к.
НОВИКОВ, И. Современные повести. Том I. Цена 1 р. 25 к.
ЕГО ЖЕ. Современные повести. Том II. Цена 1 р. 25 к.
„ПЕРЕВАЛ“. Сборник IV. 176 стр. Ц. 1 р. 75 к.
ПИЛЬНЯК, Б. Мать сыра-земля. Повести и рассказы.
Т. V. Ц. 1 р. 75 к.
ТРОЦКИЙ, Л. Дело было в Испании. Записки из дневника.
Иллюстр. худ. Ротова. В переплете. Ц. 1 р.
ТЮТЧЕВ, Ф. И. Новые стихотворения. Ред. и примечания
Г. Чулкова. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Москва, Центр, Кривоколенный пер., 14,

ИЗДАТЕЛЬСТВО АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“.

Каталоги высылаются бесплатно.

2 руб.
Р.



СКЛАД ИЗДАНИЙ

МОСКВА, ЦЕНТР, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕР., 14